Варлам Шаламов

Рассказы из жизни зе-ка

Варлам Шаламов, поэт и прозаик, родился в Вологде в 1907 году. Впервые был арестован в 1929 г. и приговорен к трем годам концентрационных лагерей. Вторично арестовывается в 1937 г. и в течение 17 лет отбывает срок в лагерях Колымы. После возвращения в Москву впервые публикует в 1957 г. свои стихи; в 1961 и в 1964 гг. выходят два его небольших поэтических сборника; его стихи продолжают печататься в ряде журналов — «Москва», «Знамя», «Юность».

Прозаические произведения В. Шаламова в России не публикуются. Они распространяются почитателями его таланта в списках. Часть рассказов попала на Запад и была опубликована на русском и иностранных языках. Помещаемые ниже рассказы публикуются по-русски впервые.

Ред.

Эсперанто

Бродячий актер, актер-арестант напомнил мне эту историю. После концерта лагерной культбригады главный актер, он же режиссер и театральный плотник, назвал фамилию Скоросеева.

Мозг мой обожгло, и я вспомнил пересылку тридцать девятого года, тифозный карантин и нас, пятерых, выдержавших, выстоявших все-все отправки, все этапы, все «выстойки» на морозе и все же пойманных лагерной сетью и выкинутых в безбрежность тайги.

Мы пятеро не узнали, не знали и не хотели знать друг о друге ничего, пока этап наш не дошел до того места, где нам нужно было работать и жить. Мы встретили новость этапа по-разному: один из нас сошел с ума, думая, что его ведут расстреливать, а его вели к жизни. Другой хитрил и почти перехитрил судьбу. Третий — я! — был человеком с золота, равнодушным скелетом. Четвертый — мастер на все руки, семидесяти с лишком лет. Пятый был... Скоросеев, — говорил он, привставая на цыпочки, чтобы заглянуть каждому в глаза. — Скоро сею... понимаете?

Мне было все равно, а от каламбуров я был отучен навеки. Но мастер на все руки поддержал разговор.

— Кем ты работал?

— Агрономом в Наркомземе.

Начальник угольной разведки, принимавший этап, полистал «дело» Скоросеева.

— Гражданин начальник, я еще могу...

— Сторожем поставлю...

В разведке Скоросеев работал сторожем ревностно. Не отходил ни на минуту с поста — боялся, что любой оплошностью воспользуется товарищ — донесет, продаст, обратит внимание начальника. Лучше не рисковать.

Однажды целую ночь шла густая метель. Сменщик Скоросеева был галичанин Нарынский — русый военнопленный Первой мировой войны, получивший срок за подготовку заговора для восстановления Австро-Венгрии и чуть-чуть гордившийся таким небывалым, редким «делом» среди туч троцкистов и вредителей. Нарынский, принимая от Скоросеева дежурство, смеясь, сказал, что Скоросеев даже в снег, в метель не сдвинулся со своего поста. Преданность была замечена. Скоросеев укреплялся.

В лагере пала лошадь. Это было не очень большой потерей — на Дальнем Севере лошади работают плохо. Но мясо! Мясо! Шкуру надо было снять, труп замерз в снегу. Мастеров и желающих не нашлось. Вызвался Скоросеев. Начальник удивился и обрадовался — шкура и мясо! Шкура к отчету, мясо — в котел. О Скоросееве говорил весь барак, весь поселок. Мясо, мясо! Труп лошади затащили в баню, и Скоросеев оттаял труп, снял с него шкуру, выпотрошил. Шкура застыла на морозе и была вынесена в склад. Мяса нам есть не пришлось — в последнюю минуту начальник передумал — ведь не было ветеринара, подписи на акте не было! Труп лошади порубили на куски, составили акт и сожгли на костре в присутствии начальника и прораба.

Угля, который искала наша разведка, не находилось. Понемногу — по пять, по десять человек — стали уходить из лагеря этапы. Вверх по горе, по таежной тропе уходили эти люди из моей жизни навсегда.

Там, где мы жили, была все-таки разведка, не прииск, и каждый это понимал. Каждый стремился удержаться тут подольше. Каждый «тормозился», как мог. Один стал работать необычайно старательно. Другой — молиться дольше обычного. Тревога вошла в нашу жизнь.

Прибыл конвой. Из-за гор прибыл конвой. За людьми? Нет, конвой не увел, не увел никого!

Ночью в бараке был устроен обыск. У нас не было книг, не было ножей, не было химических карандашей, газет, бумаги, — что же искать?

Отбирали вольную одежду, у многих вольная одежда была, — ведь в этой разведке работали и вольнонаемные, и была разведка бесконвойной. Предупреждение побегов? Выполнение приказа? Перемена режима?

Всё отбиралось без всяких протоколов, без записей. Отбиралось — и всё! Возмущению не было конца. Я вспомнил, как два года тому назад в Магадане отбирали вольную одежду, сотни тысяч меховых шуб у сотен этапов, у сотен тысяч людей, взятых на Север, на Дальний Север несчастных заключенных. Теплых пальто, свитеров, дорогих костюмов — дорогих, чтобы дать взятку когда-нибудь, спасти свою жизнь в решительный час. Но путь спасения был отрезан в магаданской бане. Горы вольной одежды были сложены на дворе магаданской бани. Горы были выше водонапорной башни, выше банной крыши. Горы теплой одежды, горы, горы трагедий, горы человеческих судеб, которые обрывались внезапно и резко, — всех выходящих из бани обрекая на смерть. Ах, как боролись все эти люди, чтобы уберечь свое добро от блатарей, от открытого разбоя в бараках, вагонах, транзитках. Всё, что было спасено, утаено от блатарей, было отобрано государством в бане. Как просто! Это было два года назад. И вот — снова.

Вольная одежда, что просочилась на прииски, настигалась позднее. Я вспомнил, как меня разбудили ночью, в бараке обыски шли ежедневно — ежедневно уводили людей. Я сидел на нарах и курил. Новый обыск — за вольной одеждой. У меня не было вольной одежды — все оставлено было в магаданской бане. Но у товарищей моих вольная одежда была. Это были драгоценные вещи — символ иной жизни, истлевшие, рваные, не чиненные — на починку не хватало ни времени, ни сил, — но всё же родные.

Все стояли у своих мест и ждали. Следователь сидел около лампы и писал акт, акт обыска, изъятия, как это называется на лагерном языке.

Я сидел на нарах и курил, не волнуясь, не возмущаясь. С единственным желанием, чтобы обыск кончился скорее и можно было спать. Но я увидел, как наш дневальный, по фамилии Прага, рубил топором свой собственный костюм, рвал на куски простыни, кромсал ботинки.

— Только на портянки. Только портянками отдам.

— Возьмите у него топор! — закричал следователь.

Прага бросил топор на пол. Обыск остановился. Вещи, которые рвал, резал, уничтожал Прага, были его вещами, его соб-

ственными. Эти вещи не успели еще записать в акт. Прага, видя, что его не хватают за руки, превратил в тряпки всю свою вольную одежду на моих глазах. И на глазах следователя.

Это было год назад. И вот — снова.

Все были взволнованы, возбуждены, долго не засыпали.

— Никакой разницы между блатарями, которые нас грабят, и государством для нас нет, — сказал я. И все согласились со мной.

Сторож Скоросеев уходил на дежурство, на свою смену часа на два раньше нас. Строем по два, как дозволяла таежная тропа, мы добрались до конторы злые, обиженные — наивное чувство справедливости живет в человеке очень глубоко и, может быть, неискоренимо. Казалось бы, что обижаться? Злиться? Возмущаться? Ведь это тысячный пример — этот проклятый обыск. На дне души что-то клокотало, сильнее воли, сильнее жизненного опыта. Лица арестантов были темными от гнева.

На крыльце конторы стоял сам начальник Виктор Николаевич Плуталов. У начальника было тоже темное от гнева лицо. Наша крошечная колонна остановилась перед конторой, и сейчас же меня вызвали в кабинет Плуталова.

— Так ты говоришь, — покусывая губы, посмотрел на меня Плуталов исподлобья, с трудом неудобно усаживаясь на табуретку за письменным столом, — что государство хуже блатарей?

Я молчал. Скоросеев! Нетерпеливый человек господин Плуталов не замаскировал своего стукача, не подождал часа два! Или тут дело в чем-то другом?

— Мне нет дела до ваших разговоров. Но если мне доносят или, как по-вашему, дуют?

— Дуют, гражданин начальник.

— А, может быть, стучат?

— Стучат, гражданин начальник.

— Иди на работу. Ведь сами вы готовы съесть друг друга. Политики! Всемирный язык. Все понимают друг друга. Ведь я начальник — мне надо что-то делать, когда мне дуют...

Плуталов плюнул от ярости.

Прошла неделя, и с очередным этапом я уехал из разведки, из благословенной разведки на большую шахту, где в первый же день встал вместо лошади за египетский ворот лебедки, упираясь грудью в бревно.

Скоросеев остался в разведке.

Шел концерт лагерной самодеятельности, и бродячий актер — конферансье — объявлял номер, выбегал в артистическую — одну из больничных палат — поднимать дух неопытных концертантов. — Концерт идет хорошо! Хорошо идет концерт, — шептал он на ухо каждому участнику. — Хорошо идет концерт, — объявлял он громогласно и прохаживался по артистической, вытирал грязной какой-то тряпкой пот с горячего своего лба.

Всё было, как у больших, да и сам бродячий актер был на воле большим актером. Кто-то очень знакомым голосом читал на эстраде рассказ Зощенко «Лимонад». Конферансье склонился ко мне:

— Дай закурить.

— Закури.

— Вот не поверишь, — внезапно сказал конферансье, — если б не знал, кто читает, думал бы, что это сука Скоросеев.

— Скоросеев? — я понял, чьи интонации напомнил мне голос со сцены.

— Да. Я ведь эсперантист. Понял? Всемирный язык. Не какой-нибудь «бейзик инглиш». И срок за эсперанто. Я член московского общества эсперантистов.

— По пятьдесят восьмой — шесть? За шпионаж?

— Ясное дело.

— Десять?

— Пятнадцать.

— А Скоросеев?

— Скоросеев — заместитель председателя правления общества. Он-то всех и запродал, всем дал дела...

— Маленький такой?

— Ну да.

— А где он сейчас?

— Не знаю. Удавил бы его своей рукой. Я прошу тебя как друга, — мы были знакомы с актером часа два, не больше, — если увидишь, если встретишь, прямо бей по морде. По морде, и половина грехов тебе простится.

— Так-таки половина?

— Простится, простится.

Но чтец рассказа Зощенко «Лимонад» уже вылезал со сцены. Это был не Скоросеев, а тонкий, длинный, как великий князь романовского рода, барон, барон Мендель — потомок Пушкина. Я разочаровался, разглядывая потомка Пушкина, а конферансье уже выводил на сцену следующую жертву. «Над седой равниной моря ветер тучи собирает...»

— Слушайте, — зашептал барон, склоняясь ко мне, — разве это стихотворение? «Ветер воет, гром грохочет»? Стихи бывают не такие. Страшно подумать, что в то самое время, в тот же самый год, день и час Блок написал «Заклятие огнем и мраком», а Белый — «Золото в лазури»...

Я позавидовал счастью барона — отвлечься, убежать, спрятаться, скрыться в стихи. Я этого делать не умел.

Ничего не было забыто. И много лет прошло. Я приехал в Магадан после освобождения, пытаясь по-настоящему освободиться, переплыть это страшное море, по которому двадцать лет назад привезли меня на Колыму. И хотя я знал, как трудно будет жить в бесконечных моих скитаниях, я, я не хотел и часу оставаться по своей воле на проклятой колымской земле.

Денег у меня было в обрез. Попутная машина — рубль за километр — привезла меня вчера в Магадан. Белая тьма окутывала город. У меня тут есть знакомые. Должны быть. Но знакомых на Колыме ищут днем, а не ночью. Ночью никто не откроет даже на знакомый голос. Нужна крыша, нары, сон.

Я стоял на автобусном вокзале и глядел на пол, сплошь покрытый телами, вещами, мешками, ящиками. В крайнем случае... Холод только тут был как на улице, градусов пятьдесят. Железная печка не топилась, а дверь беспрестанно хлопала.

— Кажется, знакомый?

Я обрадовался даже Скоросееву в этот лютый мороз. Мы пожали друг другу руки сквозь рукавицы.

— Идем ночевать ко мне, тут у меня свой дом. Я ведь давно освободился. Выстроил в кредит. Женился даже. — Скоросеев захохотал. — Чаю попьем...

И было так холодно, что я согласился. Долго мы ползли по горам и рытвинам ночного Магадана, затянутого холодной, мутно-белой мглой.

— Да, построил дом, — говорил Скоросеев, пока я курил, отдыхая, — кредит. Государственный кредит. Решил вить гнездо. Северное гнездо.

Я напился чаю. Лег и заснул. Но спал плохо, несмотря на дальний свой путь. Чем-то плохо был прожит вчерашний день.

Когда я проснулся, умылся и закурил, я понял, почему я прожил вчерашний день плохо.

— Ну, я пойду. У меня тут знакомый живет.

— Да вы оставьте чемодан. Найдете знакомых — вернетесь.

— Нет, не сто́ит второй раз на гору лезть.

— Жили бы у меня. Как-никак, старые друзья.

— Да, — сказал я. — Прощайте.

Я застегнул полушубок, взял чемодан и уже схватился за ручку двери. — Прощайте.

— А деньги? — сказал Скоросеев.

— Какие деньги?

— А за койку, за ночевку. Ведь это же не бесплатно.

— Простите меня, — сказал я. — Я не сообразил.

Я поставил чемодан, расстегнул полушубок, нашарил в карманах деньги, заплатил и вышел в бело-желтую дневную мглу.

Инженер Киселев

Я не понял души инженера Киселева. Молодой тридцатилетний инженер, энергичный работник, только что кончивший институт и приехавший на Дальний Север отрабатывать обязательную трехлетнюю практику. Один из немногих начальников, читавший Пушкина, Лермонтова, Некрасова — так его библиотечная карточка рассказывала. И самое главное — беспартийный, стало быть, приехавший на Дальний Север не за тем, чтобы что-то проверять в соответствии с приказами свыше. Никогда не встречавший ранее арестантов на своем жизненном пути, Киселев перещеголял всех палачей в своем палачестве.

Самолично избивая заключенных, Киселев подавал пример своим десятникам, бригадирам, конвою. После работы Киселев не мог успокоиться — ходил из барака в барак, выискивая человека, которого он мог бы безнаказанно оскорбить, ударить, избить. Таких было двести человек в распоряжении Киселева. Темная садистическая жажда убийства жила в душе Киселева и в самовластии и бесправии Дальнего Севера нашла выход, развитие, рост. Да не просто сбить с ног — таких любителей из начальников малых и больших на Колыме было много, у которых руки чесались, которые, желая душу отвести, через минуту забывали о выбитом зубе, окровавленном лице арестанта, не забывавшего удар начальства всю жизнь. Не просто ударить, а сбить с ног и топтать, топтать полутруп своими коваными сапогами. Немало заключенных видело у своего лица железки на подошвах и каблуках киселевских сапог.

Сегодня кто лежит под сапогами Киселева, кто сидит на снегу? Зельфугаров. Это мой сосед сверху по вагонному купе поезда, шедшего прямым ходом в ад, восемнадцатилетний мальчик слабого сложения с изношенными мускулами, преждевременно изношенными. Лицо Зельфугарова залито кровью, и только по черным кустистым бровям узнаю я своего соседа: Зельфугаров — турок, фальшивомонетчик. Фальшивомонетчик по пятьдесят девять-двенадцать — живой, да этому не поверит ни один прокурор, ни один следователь, ведь за фальшивую монету у государства ответ один — смерть. Но Зельфугаров был мальчиком шестнадцати лет, когда слушалось это дело.

— Мы делали деньги хорошие, ничем не отличить от настоящих, — взволнованный воспоминаниями шептал Зельфугаров в бараке — в утепленной палатке, где внутри брезента ставится фанерный каркас — изобретения и такие бывают.

Расстреляны отец и мать, два дяди Зельфугарова, а мальчик остался жив. Впрочем, и он скоро умрет, порукой тому сапоги и кулаки инженера Киселева.

Я наклоняюсь над Зельфугаровым, и тот выплевывает прямо на снег перебитые свои зубы. Лицо его опухает на глазах.

— Идите, идите. Киселев увидит — рассердится, — толкает меня в спину инженер Вронский — тульский горняк, тверяк по рождению, последняя модель шахтинских процессов. Доносчик и подлец.

По узким ступенькам, вырубленным в горе, мы взбираемся на место работы. Это — «зарезки» шахты. Штольня, которую «бьют» по уклону, и немало уже вытащено камня — рельсы уходят куда-то далеко вглубь, где бурят, отпаливают, выдают «нагора́» породу.

И Вронский, и я, и Савченко, харбинский почтарь, и паровозный машинист Крюков — все мы слишком слабы, чтобы быть забойщиками, чтобы нам была оказана честь допустить нас к кайлу и лопате, и к «усиленному» пайку, который отличается от пайка нашего производственной какой-то лишней кашей, кажется. Я знаю хорошо, что такое шкала лагерного питания, какое грозное содержание скрывают эти пищевые рационы поощрения, и не жалуюсь. Остальные — новички — горячо обсуждают главный вопрос: какую категорию питания дадут им в следующую декаду — пайки и карточки меняются подекадно. Какую? Для «усиленного» пайка мы слишком слабы, мускулы наших рук и ног давно превратились в бичевки — в веревочки. Но у нас еще есть мышцы на спине, на груди, у нас еще есть кожа и кости,

и мы натираем мозоли на груди, выполняя желание инженера Киселева. У всех четверых мозоли на груди и белые заплаты на наших грязных рваных телогрейках, посаженные на грудь, как будто у всех одна и та же арестантская форма.

В штольне проложены рельсы, по рельсам на веревке, на пеньковом канате мы спускаем вагонетку. Внизу ее нагрузят, а мы вытащим наверх. Руками мы, конечно, этой вагонетки не вытащим, если бы даже все четверо тянули враз, вместе, как рвут лошади гужевых троек в Москве. В лагере каждый тянет вполсилы или в полторы силы. Дружно в лагере тянуть не умеют. Но у нас есть механизм, это тот самый механизм, который был еще в древнем Египте и позволил построить пирамиды. Пирамиды, а не какую-нибудь шахту, шахтенку. Это — конный ворот. Только вместо лошадей здесь впрягают людей — нас, и каждый из нас упирается грудью в свое бревно, жмет, и вагонетка медленно выползает наружу. Тут, оставив ворот, мы катим вагонетку к отвалу, разгружаем ее, тащим назад, ставим на рельсы, толкаем в черное горло штольни.

Кровавые мозоли на груди у каждого, заплаты на груди у каждого — это след бревна от конного вóрота, от египетского вóрота.

Здесь нас ждет, подбоченившись, инженер Киселев. Следит, чтобы мы заняли свои места в этой упряжке. Докурив свою папиросу и тщательно растоптав, растерев окурок на камнях своими сапогами, Киселев уходит. И хоть мы знаем, что Киселев нарочно измельчил, растоптал свой окурок, чтобы нам не досталось ни единой табачинки, ибо прораб видел воспаленные жадные глаза, арестантские ноздри, вдыхающие издали дым этой киселевской папиросы, — все же мы не можем справиться с собой и все четверо бежим к растерзанной, уничтоженной папиросе и пытаемся собрать хоть табачинку, хоть крупиночку, но, конечно, собрать хоть крошку, хоть пылинку не удается. И у всех у нас на глазах слезы, и мы возвращаемся в свои рабочие позиции к потертым бревнам конного вóрота, к рогатке-вертушке.

Это Киселев, Павел Дмитриевич Киселев воскресил на Аркагале ледяной карцер времен 1938 года, вырубленный в скале, в вечной мерзлоте, ледяной карцер. Летом людей раздевали до белья — по летней Гулаговской инструкции — и сажали их в этот карцер босыми, без шапок, без рукавиц. Зимой сажали в одежде — по зимней инструкции. Много заключенных, побывавших в этом карцере только одну ночь, навсегда простились со здоровьем.

Говорили о Киселеве много в бараках, в палатках. Методические ежедневные смертные избиения казались многим, не прошедшим школы тридцать восьмого года, слишком ужасными, непереносимыми.

Всех поражало, или удивляло, или задевало, что ли, личное участие начальника участка в этих ежедневных экзекуциях. Арестанты легко прощали удары, тычки конвоирам, надзирателям, прощали своим собственным бригадирам, но стыдились за начальника участка, за этого беспартийного инженера. Киселевская активность вызывала возмущение даже у тех, чьи чувства были притуплены многими годами заключения, кто видал «всякое», кто научился великому равнодушию, которое воспитывает в людях лагерь.

Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт — целиком отрицательный до единой минуты. Человек становится только хуже. И не может быть иначе. В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек. Но видеть дно жизни — это не самое страшное. Самое страшное — это когда это самое дно жизни человек начинает — навсегда — чувствовать в своей собственной, когда его моральные мерки заимствуются из лагерного опыта, когда мораль блатарей применяется в нашей жизни. Когда ум человека не только служит для оправдания этих лагерных чувств, но служит самим этим чувствам. Я знаю много интеллигентов, да и не только интеллигентов, которые именно блатные границы сделали тайными границами своего поведения на воле. В сравнении этих людей с лагерем одержал победу лагерь. Это — усвоение морали «лучше украсть, чем попросить», это — фальшивое блатное различение «пайки» личной и государственной. Это — слишком свободное отношение ко всему «казенному». Примеров растления много. Моральная граница, рубеж очень важны для заключенного. Это — главный вопрос его жизни: остался он человеком или нет?

Различие очень тонкое, и стыдиться нужно не воспоминаний о том, как был «доходягой», «фитилем», бегал, как «куры с котелком», и рылся в помойных ямах, а стыдиться усвоенной блатной морали, хотя бы это давало возможность выжить как блатные, притвориться «бытовичком» и вести себя так, чтобы, ради Бога, не узнали ни начальник, ни товарищи, пятьдесят восьмая ли у тебя статья, или сто шестьдесят вторая, или какая-нибудь служебная — растраты, халатность. Словом, интеллигент хочет быть лагерной Зоей Космодемьянской: быть с блатарями — блатарем, с уголовниками — уголовником. Ворует, и пьет, и даже

радуется, когда получает срок «по бытовой», — проклятое клеймо политического снято с него, наконец. А политического-то в нем не было никогда. В лагере не было политических. Это были воображаемые, выдуманные враги, с которыми государство рассчитывалось как с врагами подлинными — расстреливало, убивало, морило голодом. Сталинская коса смерти косила всех без различия, равняя на разверстку, на списки, на выполнение плана. Среди погибших в лагере был такой же процент негодяев и трусов, сколько и на воле. Все были люди случайные, случайно превратившиеся в жертву из равнодушных, из трусов, из обывателей, даже из палачей.

Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдержали. Те, кто выдерживал, умирали вместе с теми, кто не выдерживал, стараясь быть лучше всех, тверже всех только для самих себя...

Была глубокая осень, густая метель. Опоздавшая в перелете молодая утка не могла бороться со снегом, слабела. На площадке зажгли «юпитер», и, обманутая его холодным светом, утка кинулась, хлопая отяжелевшими намокшими крыльями, к «юпитеру», как к солнцу, как к теплу. Но холодный огонь прожектора не был солнечным огнем, дающим жизнь, и утка перестала бороться со снегом. Утка опустилась на площадку перед штольней, где мы — скелеты в оборванных телогрейках — налегали грудью на палку ворота под улюлюканье конвоя. Савченко поймал утку руками. Он отогрел ее за пазухой, за своей костистой пазухой, высушил ее перья своим голодным и холодным телом.

— Съедим? — сказал я, хотя множественное число тут было вовсе ни к чему — это была охота, добыча Савченко, а не моя.

— Нет. Лучше я отдам...

— Кому? Конвою?

— Киселеву.

Савченко отнес утку в дом, где жил начальник участка. Жена начальника участка вынесла Савченко два обломка хлеба — граммов триста, и налила полный котелок пустых щей из квашеной капусты. Киселев знал, как рассчитываться с арестантами, и научил этому свою жену. Разочарованные, проглотили мы этот хлеб: Савченко — кусочек побольше, я — кусочек поменьше. Вылакали суп.

— Лучше было самим съесть утку, — грустно сказал Савченко.

— Не надо было носить Киселеву, — подтвердил я.

Случайно оставшись в живых после истребительного тридцать восьмого года, я не собирался вторично обрекать себя на знакомые мучения. Обрекать себя на ежедневные, ежечасные унижения, на побои, на издевательства, на пререкания с конвоем, с поваром, с банщиком, с бригадиром, с любым начальником, на бесконечную борьбу за кусок чего-то, что можно съесть и не умереть голодной смертью, дожить до завтрашнего, точно такого же дня.

Последние остатки расшатанной, измученной, истерзанной воли надо было собрать, чтобы покончить с издевательствами ценой хотя бы жизни. Жизнь — не такая уж большая ставка в лагерной игре. Я знал, что и все думают так же, только не говорят. Я нашел способ избавиться от Киселева.

Полтора миллиона тонн полукоксующегося угля, не уступающего по калорийности донбассовскому, — таков угольный запас Аркагалы, угольного района Колымского края, где лиственные, исковерканные холодом над головой и вечной мерзлотой под корнями деревья достигают зрелости в триста лет. Значение угольных запасов при таком лесе понятно всякому начальнику на Колыме. Поэтому на Аркагалинской шахте часто бывало самое высокое колымское начальство.

— Как только какое-нибудь большое начальство приедет на Аркагалу — дать Киселеву по морде. Публично. Ведь будут обходить бараки, шахту обязательно. Выйти из рядов — и пощечина.

— Срок дадут.

— Дадут года два. За такую суку больше не дадут. А два года надо взять.

Никто из старых колымчан не рассчитывал вернуться с севера живым, — срок не имел для нас значения. Лишь бы не расстреляли, не убили. Да и то...

— А что Киселева после пощечины уберут от нас, переведут, снимут — это ясно. В среде высших начальников ведь пощечину считают позором. Такая пощечина прогремит на всю Колыму.

Так помечтав о самом главном в нашей жизни у печки, у холодеющего очага, я влез на верхние нары, на свое место, где было потеплее, и заснул.

Я спал без всяких сновидений. Утром нас привели на работу. Дверь конторки раскрылась, и начальник участка шагнул через порог. Киселев не был трусом.

— Эй ты! — закричал он. — Выходи!

Я вышел.

— Значит, прогремит на всю Колыму? А? Ну держись...

Киселев не ударил меня, даже не замахнулся для приличия, для соблюдения собственного начальнического достоинства. Он повернулся и ушел. Мне нужно было держаться очень осторожно. Ко мне Киселев больше не подходил и замечаний не делал — просто исключил меня из своей жизни, но я понимал, что он ничего не забудет, и иногда чувствовал на моей спине ненавидящий взгляд человека, который еще не придумал способа мести.

Я много размышлял о великом лагерном чуде — чуде стукачества, чуде доноса. Когда Киселеву донесли? Значит, стукач не спал ночь, чтобы добежать до вахты или до квартиры начальника. Измученный работой днем, правоверный стукач крал у себя отдых ночной, мучился, страдал и «доказывал». Кто же? Нас было четверо при этом разговоре. Сам я — не доносил, это я твердо знал. Есть такие положения в жизни, когда человек и сам не знает, донес он или нет на товарищей. Например, покаянные заявления всяких партийных уклонистов. Доносы это или не доносы? Я уж не говорю о беспамятстве показаний с применением горящей паяльной лампы. И та́к бывало. По Москве до сих пор ходит один бурят-профессор, у которого рубцы на лице от паяльной лампы тридцать седьмого года. Кто еще? Савченко? Савченко спал рядом со мной. Инженер Вронский. Да, инженер Вронский. Он. Нужно было спешить, и я написал записку.

Вечером следующего дня с Аркагалы за одиннадцать километров приехал на попутной машине врач, заключенный Кунин. Я знал его немножко — по пересылке прошлых лет. После осмотра больных и здоровых Кунин подмигнул мне и направился к Киселеву.

— Ну, как осмотр? В порядке?

— Да, почти, почти. У меня к вам просьба, Павел Дмитриевич.

— Рад слушать.

— Отпустите-ка Андреева на Аркагалу. Направление я дам. Киселев вспыхнул.

— Андреева? Нет, кого хотите, Сергей Михайлович, только не Андреева. — И засмеялся. — Это, как бы вам сказать политературнее, — мой личный враг.

Есть две школы начальников в лагере. Одни считают, что всех заключенных, да и не только заключенных, всех, кто досадил лично начальнику, надо скорее отправлять в другое место, переводить, выгонять с работы.

Другая школа считает, что всех оскорбителей, всех личных

врагов надо держать поближе к себе, на глазах, лично проверяя действенность тех карательных мер, которые выдуманы начальником для удовлетворения собственного самолюбия, собственной жестокости. Киселев исповедывал принципы второй школы.

— Не смею настаивать, — сказал Кунин. — Я, по правде говоря, вовсе не для этого приехал. Вот тут акты, их довольно много, — Кунин расстегнул помятый брезентовый портфель. — Акты о побоях. Я еще не подписывал их. Я, знаете, держусь простого, что называется «народного» взгляда на эти вещи. Мертвых не воскресишь, сломанных костей не склеишь. Да мертвых в этих актах и нет. Я так говорю о мертвых, для красного словца. Я не хочу вам плохого, Павел Дмитриевич, и мог бы смягчить кое-какие врачебные заключения. Не уничтожить, а именно смягчить. Изложить то, что было, — помягче. Но, видя ваше нервное состояние, я, конечно, не хочу вас тревожить личной просьбой.

— Нет, нет, Сергей Михайлович, — сказал Киселев, придерживая за плечи встававшего с табуретки Кунина. — Зачем же? А нельзя ли совсем порвать эти дурацкие акты? Ведь, честное слово, сгоряча. А потом это такие негодяи. Любого доведут.

— Насчет того, что любого доведут эти негодяи, — у меня особое мнение, Павел Дмитриевич. А акты... Порвать их, конечно, нельзя, а смягчить можно.

— Так сделайте это!

— Я бы сделал охотно, — холодно сказал Кунин, глядя прямо в глаза Киселеву. — Но ведь я просил перевести одного зэкашку на Аркагалу, вот этого доходягу Андреева, а вы и слушать не хотите. Засмеялись — и всё...

Киселев помолчал.

— Сволочи вы все, — сказал он. — Пишите направление в больницу.

— Это сделает фельдшер вашего участка по вашему указанию, — сказал Кунин.

Этим же вечером с диагнозом «острый аппендицит» я был увезен на Аркагалу, в главную лагерную зону и больше не видел Киселева. Но не прошло и полугода, как я услышал о нем.

В темных штреках шуршали газетой, смеялись. В газете было напечатано о внезапной смерти Киселева. В сотый раз рассказывали подробности, захлебываясь от радости. Ночью в квартиру инженера через окно влез вор. Киселев был не трус, над кроватью у него всегда висела заряженная охотничья двустволь-

ка. Услышав шорох, Киселев спрыгнул с кровати и, взведя курки, бросился в соседнюю комнату. Вор, услышав шаги хозяина, кинулся в окно и замешкался немного, вылезая из узкого окна.

Киселев ударил вора прикладом сзади, как в оборонительном рукопашном бою, — по всем правилам, как учили всех вольных во время войны, учили каким-то дедовским способам рукопашного боя. Двустволка выстрелила. Весь заряд влетел Киселеву в живот. Через два часа Киселев умер — хирурга ближе, чем за сорок километров, не было, а Сергею Михайловичу как заключенному не разрешили этой срочной операции.

День, когда на шахту пришло известие о смерти Киселева, был праздничным днем для заключенных. Даже, кажется, план был в этот день выполнен.

Лагерная свадьба

К устью Улса быстро приближался челнок. Горная река была так крута, что челнок был виден на реке весь, как нарисованный. Челнок уже входил в тихие воды озера, образованного слиянием Улса и Кутима, того самого озера, на которое совсем недавно садился гидроплан Берзина, главного начальника. Пилотом Берзина был Володя Гипус, летчик, осужденный за вредительство, но с «детским» сроком на три года. Берзин был слишком опытен и умен, чтобы заглядывать в «дело» Гипуса, когда брал летчика-вредителя своим личным пилотом.

Прилет Берзина и был самым ярким событием нынешнего года. Кроме, конечно, вахминовской свадьбы.

Челнок приближался.

— Начальник едет, — виновато сказал Шурка Вениаминов, секретарь «общей части».

— И не один, — сказал я, начальник отдела труда. Мы стояли на берегу и ждали, пока долблена причалит. Челнок ткнулся носом в песок, Шурка и я придержали лодку, пока приехавшие выгрузились. Начальник района Степанов и его заместитель Александров — оба вернулись вместе в один и тот же миг. Раньше начальники вместе никуда не ездили и вместе не возвращались.

— Ну, как ваша свадьба? — спросил Степанов.

— Это не наша свадьба, гражданин начальник, это Вахминова свадьба.

— Сколько водки выпито?

— Сколько выписано было, столько и выпито.

— Не два же литра?

— Два, гражданин начальник.

— А не десять? Не двадцать, как мне в Кутиме говорили?

— Два, гражданин начальник.

— Пиши, Вениаминов, приказ. Всем участникам свадьбы из заключенных по пятнадцать суток изолятора...

Степанов помолчал и поглядел куда-то мимо меня, добавил:

— С выводом... всех вольнонаемных — на губу и по выговору. С занесением в личное дело.

— А вы дураки! — сказал Александров, бывший начальник артиллерии Черноморского побережья, царский офицер, отбывший срок и оставшийся на службе в лагере. — Дураки! Взрослые люди! Надо было пригласить на свадьбу этого Сапрыкина, уполномоченного и начальника отряда. Ведь не дети вы. Надо было подождать возвращения — моего или Андрея Максимовича. Спешите всё. Торопитесь.

— А я с Азаровым за один стол не сяду, — сказал Вениаминов хмуро. Да и Сапрыкин. Зачем нам Сапрыкин на свадьбе? Ваш заместитель, техрук района Кранов был.

— Кранов бывает всюду, где можно выпить на даровщинку, — сказал Степанов. — Знали ведь это?

— Знали.

— Ну, зови жениха.

Курьер побежал за Вахминовым, начальником КВЧ.

Гримасы «перековки» были не только мрачные, угрюмые. Были гримасы и веселые.

Среди огромного количества приказов, которые присылала в начале тридцатых годов во время «перековки» Москва, было очень много попыток нащупать какой-то новый путь давления на арестанта.

Меры, поощрения, выполненный план стимулировались не только пайкой, не только «шкалой питания».

Лучшими «изотовцами» в лагере были свои изотовцы, как после были «стахановцы» и «стахановская» пайка на Колыме.

В 1931 году «перековка» началась. В 1929 году заключенным, систематически перевыполнявшим норму, разрешалось жениться. Документы «личного дела» служили юридической основой для регистрации.

Приезжающим женам не надо было везти «московского» раз-

решения на свидание. «Московское» полагалось брать «вредителям», вообще пятьдесят восьмой статье... Сроки этого свидания, сутки или часы, оговоренные приказом, дробились по желанию мужа и жены чуть ли не на минуты.

На Витаахе, где находилось управление Вишерского лагеря, был выстроен специальный дом-гостиница — Дом Свиданий. Так этот дом и был назван во всех документах того времени: Дом Свиданий!

Шел уже четырнадцатый год с начала революции. Название никому не казалось странным. Память у людей коротка.

Ударница могла назвать своим мужем любого заключенного... И получить свидание в Доме Свиданий. Начальство следило только, чтобы в книге Дома Свиданий не числилась пятьдесят восьмая статья.

Дом Свиданий и его практика вызвали новый вопрос ГУЛАГу : можно ли заключенным жениться на заключенных в качестве поощрения за отличную работу. Разъяснение ГУЛАГа было получено и разослано по всем отделениям. Можно, если по анкете «личного дела» заключенный не состоял в браке. Северный район Вишерского лагеря получил это разъяснение.

Не откладывая в долгий ящик, Вахминов, начальник КВЧ, подал заявление о желании вступить в брак со своей делопроизводительницей Раисой Колесниченко.

Вахминов был ленинградский чекист, пьянчужка, потерявший наган во время шумной пьянки в «Астории».

— Очнулся, понимаешь, в канаве. Наган и кобур через плечо повешен. Пустой кобур.

Вахминова судили, дали три года. Он обжаловал приговор в Москву, Москва пересмотрела дело. Срок наказания был увеличен: пять лет. Вахминов решил прекратить переписку с высокими организациями и с головой ушел в воспитательную лагерную работу.

Среди сотен всевозможных «КВЧ», которые я встречал в своей жизни, Вахминов еще был один из лучших. Пить он вовсе не пил. Только вот на свадьбе.

Рая Колесниченко была дочь какого-то сектанта крупного. Рае хотелось только одного: забыть отца, вообще забыться, забиться в угол куда-нибудь, не отличаться от подруг, соседей, знакомых, встречных ни одеждой, ни интересами, ни походкой, ни поведением.

С Вахминовым Рая жила уже давно и сейчас обрадовалась официальному предлогу, поводу.

В районе как раз гостил разъездной коллектив «Синей блузы» — подружки Рае нашлись.

По левую руку невесты сидела узкоглазая, узкогубая Шура Фанарина, стукачка из блатных. Рядом с ней — Сорокин, руководитель синеблузного коллектива. «Синяя блуза» в столицах уже умирала, и сам создатель жанра Южанин после неудачного побега за границу жил в лагерях. Все начинается в Москве, но не в Москве кончается. Уральская лагерная «Синяя блуза» была последним кругом по воде от камня, брошенного когда-то в стоячую воду эстрадного искусства с великой силой. Тексты к ораториям «Синей блузы» писал и я, и как полезный автор был дружен с синеблузниками. С участка на участок передвигалась «Синяя блуза» верхом... Вьючные лошади и лошади верховые. Болота, речки, дожди.

На центральном участке, где мы жили, был клуб. При клубе — художник, осужденный на десять лет по делу розенкрейцеров в Москве, по странному делу масонов.

Этим летом к художнику приехала жена, но он был не в ладах с начальством — портрет, что ли, отказался писать, и жене дали свидание ровно на столько часов, сколько разрешила Москва. Жена добиралась за сотни верст от железной дороги, вверх по реке, вверх, вверх...

Вместе с женой художника приехала жена инженера Шишова. Инженер Шишов был в заграничной командировке в Германии, учился там, женился, вернулся в Москву. Шли переговоры о юридическом оформлении приезда жены, о разрешении ей приехать. Разрешение было выдано, но Шишов был арестован. Женщина не вернулась назад, а, не зная ни слова по-русски, отправилась на Северный Урал на каторгу искать мужа. И нашла. Свидание их, тоже разрешенное Москвой, было свободное — вольная квартира, прогулка. Инженер и молодая немка ходили по берегу, обнявшись, ходили, ходили. Потом она уехала. Не зная языка, без провожатых.

Вениаминов и я хотели пригласить инженера и его жену на свадьбу, но бывший чекист Вахминов отклонил наше предложение.

По правую руку жениха сидел заместитель начальника района, техрук из местных Краснов. Краснов знал, что свадьба разрешена, что водки выписано два литра, но вместо двух заведующий складом продал десять — сведения стукачей были самые точные. Впрочем, что это за стукачи, это — начальник отряда

Азаров и местный уполномоченный райотдела, вполне официальный муж.

Азаров и Сапрыкин радировали в управление: «Отсутствие начальника района идет пьянка» и так далее.

Радист Костя Покровский не был приглашен на свадьбу, потому что он не то слишком комсомолец, не то слишком трусоват.

Пришел и ответ — начальнику выговор, всем участникам пьянки — взыскание.

Но за столом мы еще ничего не знали и поднимали бокалы и кричали «горько».

Слева от Сорокина сидела Зоя Ивановна, синеблузница, спокойная и добрая сорокалетняя баба. Рядом с ней — Юрик Загорский, блатарь в годах, который мог отбивать чечетку и петь.

Рядом с Юриком сидела Сима Врублевская — незаметная, некрасивая девушка с очень красивыми глазами. На эту самую Симу я стал обращать внимание только после того, как Катя Аристахова, подружка моя тогдашняя, сказала мне как-то: «Удивляюсь вам, дуракам мужчинам. Никто из вас и не посмотрит на Симу, а я была с ней в бане — лучше бабы здесь нет».

Рядом с Красновым, такой же работник из местных, сидел комендант лагеря Михайлов. Потом Шурка Вениаминов и я. Мы были соседями Вахминова по комнате, сослуживцами, арестантами такими же.

Выпили, покричали «горько» и разошлись.

Ответ пришел утром: всем — взыскание за пьянку, начальнику — выговор. А приказ о свадьбах, о замужествах и женитьбах как рычаге выполнения и перевыполнения плана, приказ был отменен Москвой как ошибочный.

Мы сидели в изоляторе. Суток восемь. Ходили туда ночевать. Ведь «с выводом».

Только кончился мой изолятор, Костя Покровский, не приглашенный на свадьбу радист, принес радиограмму из управления. Высылается освобождение. В списке была и моя фамилия. Я собрал вещи и «сплыл» на челноке двести верст.

Татарский мулла и чистый воздух

Жара в тюремной камере была такая, что не было видно ни одной мухи. Огромные окна с железными решетками были распахнуты настежь, но это не давало облегчения — раскаленный

асфальт двора посылал вверх горячие воздушные волны, и в камере было даже прохладней, чем на улице. Вся одежда была сброшена, и сотни голых тел, пышущих тяжелым влажным жаром, ворочались, истекая потом, на полу — на нарах было слишком жарко. На комендантские «поверки» арестанты выстраивались в одних кальсонах, по часу торчали в уборных на «оправке», бесконечно обливаясь холодной водой из умывальника. Но это помогало ненадолго. Поднарники (места на нарах всем не хватило) сделались вдруг обладателями самых лучших мест. Надо было готовиться в места «далеких таборов», и острили, по-тюремному мрачно, что после пытки выпариванием их ждет пытка вымораживанием.

Татарский мулла, следственный арестант по знаменитому делу «Большой Татарин», о котором мы знали гораздо раньше того дня, когда об этом намекнули газеты, крепкий шестидесятилетний сангвиник, с мощной грудью, поросшей седыми волосами, с живым взглядом темных круглых глаз, говорил, беспрерывно вытирая мокрой тряпочкой лысый лоснящийся череп:

— Только бы не расстреляли. А дадут десять лет — чепуха. Тому этот срок страшен, кто собирается жить до сорока лет. А я собираюсь жить до восьмидесяти.

(Мулла взбегал на пятый этаж без одышки, возвращаясь с прогулки.)

— Если дадут больше десяти, — продолжал он раздумывать, — то в тюрьме я проживу еще лет двадцать. А если в лагере, — мулла помолчал, — на чистом воздухе, то — десять.

Я вспомнил этого бодрого и умного муллу сегодня, когда перечитывал «Записки из мертвого дома». Мулла знал, что такое «чистый воздух».

Морозов и Фигнер пробыли в Петропавловской крепости при строжайшем тюремном режиме по двадцати пяти лет и вышли вполне трудоспособными людьми. Вера Николаевна нашла без большого напряжения силы для дальнейшей активной работы в революции, затем написала десятитомные воспоминания о перенесенных ужасах, а Николай Александрович написал ряд известных научных работ (основная их часть была сделана еще в крепости) и женился по любви на какой-то гимназистке.

В лагере, для того чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в лагерном забое на чистом зимнем воздухе, превратился в «доходягу», нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке

на шестидесятиградусном морозе в дырявой брезентовой палатке; побои десятников, старост из блатарей, конвоя несколько ускоряют этот процесс. Эти сроки многократно проверены. Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира. Остальной состав бригады меняется за лето несколько раз. Золотой забой беспрерывно выбрасывает отходы производства в больницы, в так называемые оздоровительные команды, в инвалидные городки и на братские кладбища.

Золотой сезон начинается пятнадцатого мая и кончается пятнадцатого сентября — четыре месяца. О зимней же работе и говорить не приходится. К лету основные забойные бригады формируются из новых людей, еще здесь не зимовавших.

Как видите, мулла знал лагерь не очень хорошо.

Арестанты, получившие срок наказания, рвались из тюрьмы в лагерь. Там — работа, здоровый деревенский воздух, досрочные освобождения, переписка, посылки от родных, денежные заработки. Человек всегда верит в лучшее. У щели дверей теплушки, в которой нас везли на Дальний Восток, день и ночь толклись пассажиры-этапники, упоенно вдыхая прохладный, пропитанный запахом полевых цветов, тихий вечерний воздух, приведенный в движение ходом поезда. Этот воздух, который был непохож на спертый, пахнущий карболкой и человеческим потом воздух тюремной камеры, ставшей ненавистной за много месяцев следствия. В этих камерах оставляли воспоминания о поруганной и растоптанной чести, воспоминания, которые хотелось забыть. По простоте душевной они представляли следственную тюрьму самым жестоким переживанием, так круто перевернувшим их жизнь. Именно арест был для них самым сильным нравственным потрясением. Теперь, вырвавшись из тюрьмы, они подсознательно хотели верить в свободу, пусть относительную, но все же свободу, жизнь без проклятых решёток, без унизительных и оскорбительных допросов. Начиналась новая жизнь без того напряжения воли, которое требовалось всегда для допроса во время следствия. Они чувствовали глубокое облегчение от сознания того, что все уже решено бесповоротно, приговор получен, не нужно думать, что́ именно отвечать следователю, не нужно волноваться за родных, не нужно строить планов жизни, не нужно бороться за кусок хлеба — они уже в чужой воле, уже ничего нельзя изменить.

никуда нельзя повернуть с этого блестящего железнодорожного пути, медленно, но неуклонно ведущего их на север.

Поезд шел навстречу зиме. Каждая ночь была холоднее прежней, жирные зеленые листья тополей здесь были уже тронуты светлой желтизной. Солнце уже не было таким жарким и ярким, как будто его золотую силу впитали, всосали в себя листья клёнов, тополей, берез, осин. Листья сами сверкали теперь солнечным светом. А бледное малокровное солнце не нагревало даже вагона, бóльшая часть его стыдливо пряталась за теплые сизые тучки, еще не пахнущие снегом. Но и до снега было недалеко.

Пересылка, еще один «маршрут» к северу. Приморская бухта их встретила небольшой метелью. Снег еще не ложился — ветер сметал его с промороженных желтых обрывов в ямы с мутной, грязной водой. Сетка метели была прозрачна. Снегопад был редок и похож на рыболовную сеть из белых ниток, накинутую на город. Над морем снег вовсе не был виден — темно-зеленые гривастые волны медленно набегали на позеленелый скользкий камень. Пароход стал на рейде и сверху казался нагруженным, и даже когда на катере их подвезли к самому борту и они один за другим взбирались на палубу, чтобы сразу разойтись и исчезнуть в горловинах трюмов, — пароход был неожиданно маленьким, много воды окружало его.

Через пять суток их выгрузили на суровом и мрачном таежном берегу, и автомашины развезли их по тем местам, где им предстояло жить — и выжить.

Здоровый деревенский воздух они оставили за морем. Здесь их окружал напитанный испарениями болот разреженный воздух тайги. Сопки были горами, покрытыми листовым болотным покровом, и только лысина такой безлесной сопки сверкала голым известняком, отполированным бурями и ветрами. Нога тонула в топком мхе, и редко за летний день ноги были сухими. Зимой всё леденело. Пятидесятиградусный мороз сковывал в одно — зловещее и недружелюбное, и горы, и реки, и болота казались каким-то одним существом.

И летом воздух был слишком редок для сердечников, зимой он был невыносим. В большие морозы люди часто, прерывисто дышали. Никто здесь не бегал бегом, разве только самые молодые, и то не бегом, а как-то вприпрыжку.

Тучи комаров облепляли лицо — без сетки нельзя было сделать шага. А на работе сетка душила, мешала дышать. Поднять же ее нельзя было из-за комаров.

Работали тогда по шестнадцать часов, и нормы были рассчитаны на шестнадцать часов. Если считать, что подъем, завтрак и развод на работу и ходьба на ее место занимают полтора часа минимум, обед — час и ужин, вместе со сбором ко сну, полтора часа, то на сон, после убийственной тяжелой физической работы на воздухе, оставалось всего четыре часа. Человек засыпал в ту самую минуту, когда переставал двигаться, умудрялся засыпать на ходу или стоя. Недостаток сна отнимал больше сил, чем голод. Невыполнение нормы грозило штрафным пайком — четыреста граммов хлеба и лишение баланды в день.

С первой иллюзией было покончено быстро. Это — иллюзия работы, того самого труда, о котором на воротах всех лагерных отделений находится предписанная лагерным уставом известная надпись: «Труд есть дело чести, славы, дело доблести и геройства». Но лагерь не мог прививать любовь к труду, прививал только ненависть и отвращение к нему.

Раз в месяц лагерный почтальон увозил накопившуюся почту в цензуру. Письма с материка и на материк шли по полгода, если вообще шли. Посылки выдавались только тем, кто выполняет норму, — остальные подвергались конфискации. Всё это не носило характера произвола — отнюдь. Об этом читались приказы, в особо важных случаях заставляли всех поголовно расписываться. Это не было дикой фантазией какого-то дегенерата-начальника — это был приказ высшего начальства.

Но даже если кем-либо посылки и получались (можно было пообещать какому-нибудь надзирателю половину, а половину все же получить), то нести такую посылку было некуда. В бараке давно ждали блатные, чтобы отнять на глазах всех и поделиться со своими «Ванечками и Сенечками». Ее надо было съесть (что физически невозможно) или продать. Покупателей было сколько угодно — десятники, начальники, врачи.

Был и третий, самый распространенный выход. Многие отдавали хранить посылки своим знакомым по лагерю или тюрьме, работавшим на каких-либо должностях и работах, где можно было запереть и спрятать. Или давали кому-либо из вольнонаемных. И в том, и в другом случае всегда был риск — никто не верил в добросовестность хозяев, но это был единственный способ спасти полученное.

Денег не платили вовсе. Ни копейки. Платили только лучшим бригадирам и то пустяки, которые не могли дать им серьезной помощи. По многим бригадам бригадиры делали так: выработки бригады записывали на два-три человека, давая им пере-

выполненный процент, за что полагалась денежная премия. На остальных двадцать-тридцать человек в бригаде полагался штрафной паек. Это было остроумным решением. Если бы на всех заработок был поделен поровну — никто не получил бы ни копейки. А тут получали два-три человека, выбираемые вовсе не случайно, часто даже без участия бригадира в составлении ведомости.

И вот человеческая природа: все знали, что нормы невыполнимы, что заработка нет и не будет, и все же за десятником ходили, интересовались выработкой, бежали встречать кассира, ходили в контору за справками.

Что это такое? Есть ли это желание обязательно выдать себя за «работягу», поднять свою репутацию в глазах начальства или это просто какое-то психическое расстройство на фоне упадка питания и общей слабости? Я думаю, что последнее более верно.

Светлая теплая чистая следственная тюрьма, которую так недавно и так бесконечно давно они покинули, всем, неукоснительно всем казалась отсюда лучшим местом на земле. Все тюремные обиды были забыты, и все с увлечением вспоминали, как они слушали лекции настоящих ученых и рассказы бывалых людей, как они читали книги, как они спали и ели досыта, ходили в чудесную, пахнущую краской тюремную баню, как получали они передачи от родственников, как они чувствовали, что семья вот здесь, рядом, за двойными железными воротами, как они говорили свободно, о чем хотели (в лагере за это полагается дополнительный срок заключения), не боясь ни шпионов, ни надзирателей. Следственная тюрьма казалась им свободней и родней родного дома, и не один говорил, размечтавшись на больничной лагерной койке, хотя осталось жить немного: «Я бы хотел, конечно, повидать семью, уехать отсюда. Но еще больше мне хотелось бы попасть в камеру следственной тюрьмы — там было еще лучше и интересней, чем дома. И я рассказал бы теперь всем новичкам, что такое «чистый воздух».

*

Если ко всему этому прибавить чуть не поголовную цингу, вырастающую как во времена Беринга в грозную и опасную эпидемию, уносившую десятки жизней; дизентерию, ибо ели что попало, стремясь только наполнить ноющий желудок, собирая кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами; пеллагру — эту болезнь бедняков, истощение, после которого кожа

на ладонях и стопах слезала с человека, как перчатка, а по всему телу шелушилась крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски, и, наконец, знаменитую алиментарную дистрофию — болезнь голодных, которую только после Ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ — таинственные буквы в диагнозах историй болезни, переводимые как резкое физическое истощение, или чаще полиавитаминоз, чудное латинское название, говорящее о недостатке нескольких витаминов в организме человека и успокаивающее врачей, нашедших удобную и законную латинскую форму для обозначения одного и того же — голода.

Если вспомнить неотапливаемые сырые бараки, где во всех щелях изнутри намерзал толстый лед, будто какая-то огромная стеариновая свеча оплывала в углу барака, плохую одежду и голодный паек, что из зимы в зиму вызывало массу отморожений, а отморожение — это ведь мучение навек, если даже не прибегать к ампутациям. Если представить, сколько при этом должно было появиться и появлялось гриппов, воспалений легких, всяческих простуд и туберкулеза в болотистых этих горах, губительных для сердечника; если вспомнить эпидемии саморубов-членовредителей, если принять во внимание и огромную моральную подавленность и безнадежность, то легко видеть, насколько «чистый воздух» был опаснее для здоровья человека, чем тюрьма.

Поэтому нет нужды полемизировать с Достоевским насчет преимуществ «работы» на каторге по сравнению с тюремным бездельем и достоинств «чистого воздуха». Время Достоевского было другим временем, и каторга тогда еще не дошла до тех высот, о которых будет рассказано. Об этом заранее трудно составить верное представление, ибо всё тамошнее слишком необычайно, невероятно, и бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь, о которой смутное, неуверенное понятие имел наш тюремный знакомый — татарский мулла.

Последний бой майора Пугачева

От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени: ведь месяцы на Крайнем Севере считаются годами — так велик опыт, человеческий опыт, приобретенный там. В этом

признается и государство, увеличивая оклады, умножая льготы работникам Севера. В этой стране надежд, а стало быть, стране слухов, догадок, предположений, гипотез любое событие обрастает легендой раньше, чем доклад-рапорт местного начальника об этом событии успевает доставить на высоких скоростях фельдъегерь в какие-нибудь «высшие сферы».

Стали говорить: когда заезжий высокий начальник посетовал, что культработа в лагере хромает на обе ноги, «культорг» майор Пугачев сказал гостю:

— Не беспокойтесь, гражданин начальник, мы готовим такой концерт, что вся Колыма о нем заговорит.

Можно начать рассказ прямо с донесения врача-хирурга Браудэ, командированного из центральной больницы в район военных действий.

Можно начать также с письма Яшки Кученя, санитара из заключенных, лежавшего в больнице. Письмо это было написано левой рукой — правое плечо Кученя было прострелено винтовочной пулей навылет.

Или с рассказа доктора Поталиной, которая ничего не видала и ничего не слыхала и была в отъезде, когда произошли неожиданные события. Именно этот отъезд следователь определил как «ложное алиби», как преступное бездействие или как это еще называется на юридическом языке.

Аресты тридцатых годов были арестами людей случайных. Это были жертвы ложной и страшной теории о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма. У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядочности, наивности, что ли, — словом, таких качеств, которые скорее облегчали, чем затрудняли карающую работу тогдашнего «правосудия». Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему им надо было умереть. Их самолюбию, их злобе не на что было опереться. И, разобщенные, они умирали в белой колымской пустыне — от голода, холода, многочасовой работы, побоев и болезней. Они сразу выучились не заступаться друг за друга, не поддерживать друг друга. К этому и стремилось начальство. Души оставшихся в живых подверглись полному растлению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами.

На смену им после войны пароход за пароходом шли «репатриированные» — из Италии, Франции, Германии прямой дорогой на крайний северо-восток.

Здесь было много людей с иными навыками, с привычками, приобретенными во время войны, — со смелостью, уменьем рисковать, веривших только в оружие. Командиры и солдаты, летчики и разведчики...

Администрация лагерная, привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности «троцкистов», нимало не беспокоилась и не ждала ничего нового.

Новички спрашивали у уцелевших «аборигенов»:

— Почему вы в столовой едите суп и кашу, а хлеб уносите в барак? Почему не есть суп с хлебом, как ест весь мир?

Улыбаясь трещинами голубого рта, показывая вырванные цингой зубы, местные жители отвечали наивным новичкам:

— Через две недели каждый из вас поймет и будет делать так же.

Как рассказать им, что они никогда еще в жизни не знали настоящего голода, голода многолетнего, ломающего волю? И что нельзя бороться со страстным, охватывающим тебя желанием продлить возможно дольше процесс еды: в бараке с кружкой горячей безвкусной снеговой «топленой» воды доесть, дососать свою «пайку» хлеба в величайшем блаженстве.

Но не все новички презрительно качали головой и отходили в сторону.

Майор Пугачев понимал кое-что и другое. Ему было ясно, что их привезли на смерть — сменить вот этих живых мертвецов. Привезли их осенью; глядя на зиму, никуда не побежишь; но летом, если и не убежать вовсе, то умереть — свободным.

И всю зиму плелась сеть этого чуть не единственного за двадцать лет заговора.

Пугачев понял, что пережить зиму и после этого «бежать» могут только те, кто не будет работать на общих работах, в забое. После нескольких недель бригадных трудов никто не побежит никуда.

Участники заговора медленно, один за другим, продвигались в «обслугу»: Солдатов стал поваром, сам Пугачев — культоргом, был фельдшер, два бригадира, а былой механик Иващенко чинил оружие в отряде охраны.

Но без конвоя их не выпускали никого «за проволоку».

Началась ослепительная колымская весна, без единого дождя, без ледохода, без пения птиц. Исчез помаленьку снег, сож-

женный солнцем. Там, куда лучи солнца не доставали, снег в ущельях, оврагах так и лежал, как слитки серебряной руды, до будущего года.

И намеченный день настал.

В дверь крошечного помещения вахты у лагерных ворот, вахты с выходом и внутрь лагеря и наружу за лагерь, где по уставу всегда дежурят два надзирателя, постучали. Дежурный зевнул и посмотрел на часы-ходики. Было пять часов утра. «Только пять», — подумал дежурный.

Дежурный откинул крючок и впустил стучавшего. Это был лагерный повар заключенный Горбунов, пришедший за ключами от кладовой с продуктами. Ключи хранились на вахте, и трижды в день повар Горбунов ходил за этими ключами. Потом приносил обратно.

Надо бы дежурному самому отпирать этот шкаф на кухне, но дежурный знал, что контролировать повара — безнадежное дело, что никакие замки́ не помогут, если повар захочет украсть, и доверял ключи повару. Тем более в пять часов утра.

Дежурный проработал на Колыме больше десятка лет, давно получал двойное жалование и тысячи раз давал в руки поварам ключи.

— Возьми, — и дежурный взял линейку и склонился графить утреннюю рапортичку.

Горбунов зашел за спину дежурного, снял с гвоздя ключ, положил его в карман и схватил дежурного сзади за горло. В ту же минуту дверь отворилась и на вахту, в дверь со стороны лагеря, вошел Иващенко, механик. Иващенко помог Горбунову задушить надзирателя и затащить его труп за шкаф. Наган надзирателя Иващенко сунул себе в карман. В то окно, что наружу, было видно, как по тропе возвращается второй дежурный. Иващенко поспешно надел шинель убитого, фуражку, застегнул ремень и сел к столу, как надзиратель. Второй дежурный открыл дверь и шагнул в темную конуру вахты. В ту же минуту он был схвачен, задушен и брошен за шкаф.

Горбунов надел его одежду. Оружие и военная форма были уже у двоих заговорщиков. Всё шло по росписи, по плану майора Пугачева. Внезапно на вахту явилась жена второго надзирателя, тоже за ключами, которые случайно унес муж.

— Бабу не будем душить, — сказал Горбунов. И ее связали, затолкали полотенце в рот и положили в угол.

Вернулась с работы одна из бригад. Такой случай был предвиден. Конвоир, вошедший на вахту, был сразу обезоружен и

связан двумя «надзирателями». Винтовка попала в руки беглецов. С этой минуты командование принял майор Пугачев.

Площадка перед воротами простреливалась с двух угловых караульных вышек, где стояли часовые. Ничего особенного часовые не увидели.

Чуть раньше времени построилась на работу бригада, но кто на севере может сказать, что́ рано и что́ поздно? Кажется, чуть раньше. А может быть, чуть позже.

Бригада — десять человек — строем по два двинулась по дороге в забои. Впереди и сзади в шести метрах от строя заключенных, как положено по уставу, шагали конвойные в шинелях, один из них с винтовкой в руках.

Часовой с караульной вышки увидел, что бригада свернула с дороги на тропу, которая проходила мимо помещения отряда охраны. Там жили бойцы конвойной службы — весь отряд в шестьдесят человек.

Спальная конвойных была в глубине, а сразу перед дверями было помещение дежурного по отряду и пирамиды с оружием. Дежурный дремал за столом и в полусне увидел, что какой-то конвоир ведет бригаду заключенных по тропе мимо окна охраны.

«Это, наверное, Черненко, — не узнавая конвоира, подумал дежурный. — Обязательно напишу на него рапорт».

Дежурный был мастером склочных дел и не упустил бы возможности сделать кому-нибудь пакость на законном основании.

Это было его последней мыслью. Дверь распахнулась, в казарму вбежали три солдата. Двое бросились к дверям спальни, а третий застрелил дежурного в упор. За солдатами вбежали арестанты, все бросились к пирамиде — винтовки и автоматы были в их руках. Майор Пугачев с силой распахнул дверь в спальню казармы. Бойцы еще в белье, босые, кинулись было к двери, но две автоматных очереди в потолок остановили их.

— Ложись, — скомандовал Пугачев, и солдаты заползли под койки. Автоматчики остались караулить у порога.

«Бригада», не спеша, стала переодеваться в военную форму, складывать продукты, запасаться оружием и патронами.

Пугачев не велел брать никаких продуктов, кроме галет и шоколада. Зато оружия и патронов было взято, сколько можно.

Фельдшер повесил через плечо сумку с аптечкой первой помощи.

Беглецы почувствовали себя снова солдатами.

Перед ними была тайга, но страшнее ли она болот Стохода?

Они вышли на трассу, на шоссе Пугачев поднял руку и остановил грузовик.

— Вылезай! — он открыл дверцу кабины грузовика.

— Да я...

— Вылезай, тебе говорят.

Шофер вылез. За руль сел лейтенант танковых войск Георгадзе, рядом с ним — Пугачев. Беглецы-солдаты влезли в машину, и грузовик помчался.

— Как будто здесь поворот.

— Бензин весь!..

Пугачев выругался.

Они вошли в тайгу, как ныряют в воду — исчезли сразу в огромном молчаливом лесу. Справляясь с картой, они не теряли заветного пути к свободе, шагая прямиком через удивительный здешний бурелом.

Деревья на севере умирали лежа, как люди. Могучие корни их были похожи на исполинские когти хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте отходили тысячи мелких щупальцев-отростков. Каждое лето мерзлота чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вползал и укреплялся там коричневый корень-щупалец.

Деревья здесь достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое могучее тело на этих слабых корнях.

Поваленные бурей деревья падали навзничь головами все в одну сторону и умирали, лежа на мягком толстом слое мха, яркого розового или зеленого цвета.

Стали устраиваться на ночь, быстро, привычно.

И только Ашот с Малининым никак не могли успокоиться.

— Что вы там? — спросил Пугачев.

— Да вот Ашот мне всё доказывает, что Адама из рая на Цейлон выслали.

— Как на Цейлон?

— Так у них, магометан, говорят, — сказал Ашот.

— А ты что — татарин, что ли?

— Я не татарин, жена — татарка.

— Никогда не слыхал, — сказал Пугачев, улыбаясь.

— Вот-вот, и я никогда не слыхал, — подхватил Малинин.

— Ну, — спать!..

Было холодно, и майор Пугачев проснулся. Солдатов сидел, положив автомат на колени, весь — внимание. Пугачев лег на спину, отыскал глазами Полярную звезду — любимую звезду

пешеходов. Созвездия здесь располагались не так, как в Европе, в России, — карта звездного неба была чуть скошенной, и Большая Медведица отползала к линии горизонта. В тайге было молчаливо, строго; огромные узловатые лиственницы стояли далеко друг от друга. Лес был полон той тревожной тишины, которую знает каждый охотник. На этот раз Пугачев был не охотником, а зверем, которого выслеживают, — лесная тишина для него была трижды тревожна.

Это была первая его ночь на свободе, первая вольная ночь после долгих месяцев и лет страшного крестного пути майора Пугачева. Он лежал и вспоминал, как началось то, что сейчас раскручивается перед его глазами, как остросюжетный фильм. Будто киноленту всех двенадцати товарищей по побегу Пугачев собственной рукой закрутил так, что вместо медленного ежедневного вращения события замелькали со скоростью невероятной. И вот надпись «конец фильма» — они на свободе. И начало борьбы, игры, жизни...

Майор Пугачев вспомнил немецкий лагерь, откуда он бежал в 1944 году. Фронт приближался к городу. Он работал шофером на грузовике внутри огромного лагеря на уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую однорядную проволоку, вырывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда по городу, в разных направлениях, брошенная машина, дорога ночами к линии фронта и встреча-допрос в особом отделе. Обвинение в шпионаже, приговор — двадцать пять лет тюрьмы.

Майор Пугачев вспомнил приезды эмиссаров Власова с его «манифестом», приезд к голодным измученным, истерзанным русским солдатам.

— От вас ваша власть давно отказалась. Всякий пленный — изменник в глазах вашей власти, — говорили власовцы. И показывали московские газеты с приказами, речами. Пленные знали и раньше об этом. Недаром только русским пленным не посылали посылок. Французы, американцы, англичане — пленные всех национальностей получали посылки, письма, у них были землячества, дружба; у русских — не было ничего, кроме голода и злобы на всё на свете. Немудрено, что в «Российскую освободительную армию» вступило много заключенных из немецких лагерей военнопленных.

Майор Пугачев не верил власовским офицерам до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Всё, что вла-

совцы говорили, было правдой. Он был не нужен власти. Власть его боялась.

Потом были вагоны-теплушки с решетками и конвоем — многодневный путь на Дальний Восток, море, трюм парохода и золотые прииски Крайнего Севера. И голодная зима.

Пугачев приподнялся и сел. Солдатов помахал ему рукой. Именно Солдатову принадлежала честь начать это дело, хоть он и был одним из последних, вовлеченных в заговор. Солдатов не струсил, не растерялся, не продал. Молодец Солдатов!

У ног его лежал летчик капитан Хрусталев, судьба которого сходна с пугачевской. Подбитый немецкий самолет, плен, голод, побег — трибунал и лагерь. Вот Хрусталев повернулся боком — одна щека краснее, чем другая — «належал» щеку. С Хрусталевым с первым несколько месяцев тому назад заговорил о побеге майор Пугачев. О том, что лучше смерть, чем арестантская жизнь, что лучше умереть с оружием в руках, чем уставать от голода и работы под прикладами, под сапогами конвойных.

И Хрусталев, и майор были людьми дела, и тот ничтожный шанс, ради которого жизнь двенадцати людей сейчас была поставлена на карту, был обсужден самым подробным образом. План был в захвате аэродрома, самолета. Аэродромов было здесь несколько, и вот сейчас они идут к ближайшему аэродрому тайгой.

Хрусталев и был тот бригадир, за которым беглецы послали после нападения на отряд, — Пугачев не хотел уходить без ближайшего друга. Вот он спит, Хрусталев, спокойно и крепко.

А рядом с ним Иващенко, оружейный мастер, чинивший револьверы и винтовки охраны. Иващенко узнал всё нужное для успеха: где лежит оружие, кто и когда дежурит по отряду, где склады боепитания. Иващенко — бывший разведчик.

Крепко спят, прижавшись друг к другу, Левицкий и Игнатович — оба летчики, товарищи капитана Хрусталева.

Раскинул обе руки танкист Поляков на спины соседей — гиганта Георгадзе и лысого весельчака Ашота, фамилию которого майор сейчас вспомнить не может. Положив санитарную сумку под голову, спит Саша Малинин, лагерный — раньше военный — фельдшер, собственный фельдшер особой пугачевской группы.

Пугачев улыбнулся. Каждый, наверное, по-своему представлял себе этот побег. Но в том, что всё шло ладно, в том, что все понимали друг друга с полуслова, Пугачев видел не только свою правоту. Каждый знал, что события развиваются так, как до́лжно. Есть командир, есть цель. Уверенный командир и трудная цель.

Есть оружие. Есть свобода. Можно спать спокойным солдатским сном даже в эту пустую бледно-сиреневую полярную ночь со странным благолепным светом, когда у деревьев нет теней.

Он обещал им свободу, они получили свободу. Он вел их на смерть — они не боялись смерти.

«И никто ведь не выдал, — думал Пугачев, — до последнего дня». О предполагавшемся побеге знали, конечно, многие в лагере. Люди подбирались несколько месяцев. Многие, с кем Пугачев говорил откровенно, отказывались, но никто не побежал на вахту с доносом. Это обстоятельство мирило Пугачева с жизнью.

— Вот молодцы, вот молодцы, — шептал он и улыбался.

Поели галет, шоколаду, молча пошли. Чуть заметная тропка вела их.

— Медвежья, — сказал Солдатов, сибирский охотник.

Пугачев с Хрусталевым поднялись на перевал, к картографической треноге, и стали смотреть в бинокль вниз на серые полосы — реку и шоссе. Река была как река, а шоссе было полно грузовиков с людьми на большом пространстве в несколько десятков километров.

— Заключенные, наверно, — предположил Хрусталев.

Пугачев вгляделся.

— Нет, это солдаты. Это за нами. Придется разделиться, — сказал Пугачев. — Восемь человек пусть ночует в стогах, а мы вчетвером пройдем по тому ущелью. К утру вернемся, если всё будет хорошо.

Они под лесок вошли в русло ручья. Пора назад.

— Смотри-ка, слишком много, давай по ручью наверх.

Тяжело дыша, они быстро поднимались по руслу ручья, и камни летели вниз прямо в ноги атакующим, шурша и грохоча.

Левицкий обернулся, выстрелил и упал. Пуля попала ему прямо в глаз.

Георгадзе остановился у большого камня, повернулся и очередью из автомата остановил поднимающихся по ущелью солдат, ненадолго — автомат его умолк и стреляла только винтовка.

Хрусталев и майор Пугачев успели подняться много выше, на самый перевал.

— Иди один, — сказал Хрусталеву майор, — постреляю. — Он бил не спеша, каждого, кто показывался. Хрусталев вернулся, крича: «— Идут!» И упал. Из-за большого камня выбегали люди.

Пугачев рванулся, выстрелил в бегущих и кинулся с перева-

ла плоскогорья в узкое русло ручья. На лету он уцепился за ивовую ветку, удержался и отполз в сторону. Камни, задетые им при падении, грохотали, не долетев еще до низу.

Он шел тайгой, без дороги, пока не обессилел.

А над лесной поляной поднялось солнце, и тем, кто притаился в стогах, были хорошо видны фигуры людей в военной форме — со всех сторон поляны.

— Конец, что ли? — сказал Иващенко и толкнул Хачатуряна локтем.

— Зачем конец? — сказал Ашот, прицеливаясь. Щелкнул винтовочный выстрел, упал солдат на тропе.

Тотчас же со всех сторон открылась стрельба по стогам.

Солдаты по команде бросились по болоту к стогам, затрещали выстрелы, раздались стоны.

Атака была отбита. Несколько раненых лежало в болотных кочках.

— Санитар, ползи, — распорядился какой-то начальник.

Из больницы был предусмотрительно взят санитар из заключенных Яшка Кучень, житель Западной Белоруссии. Ни слова не говоря, арестант Кучень пополз к раненому, размахивая санитарной сумкой. Пуля, попавшая в плечо, остановила Кученя на полдороге.

Выскочил, не боясь, начальник отряда охраны — того самого отряда, который разоружили беглецы. Он кричал:

— Эй, Иващенко, Солдатов, Пугачев, сдавайтесь, вы окружены! Вам некуда деться!

— Иди, принимай оружие! — закричал Иващенко из стога.

И Бобылев, начальник охраны, побежал, хлюпая по болоту, к стогам.

Когда он пробежал половину тропы, щелкнул выстрел Иващенко — пуля попала Бобылеву прямо в лоб.

— Молодчик, — похвалил товарища Солдатов. — Начальник ведь оттого такой храбрый, что ему всё равно: его за наш побег или расстреляют, или срок дадут. Ну, держись!

Отовсюду стреляли. Зататакали привезенные пулеметы.

Солдатов почувствовал, как обожгло ему обе ноги, как ткнулась в его плечо голова убитого Иващенко.

Другой стог молчал. С десяток трупов лежало в болоте.

Солдатов стрелял, пока что-то не ударило его в голову и он потерял сознание.

Николай Сергеевич Браудэ, старший хирург большой больницы, телефонным распоряжением генерал-майора Артемьева,

одного из четырех колымских генералов, начальника охраны всего Колымского лагеря, был внезапно вызван в поселок Личан вместе с «двумя фельдшерами, перевязочным материалом и инструментом», — как говорилось в телефонограмме.

Браудэ, не гадая понапрасну, быстро собрался, и полуторатонный, видавший виды больничный грузовичок двинулся в указанном направлении. На шоссе больничную машину беспрерывно обгоняли мощные «студебеккеры», груженные вооруженными солдатами. Надо было сделать всего сорок километров, но из-за частых остановок, из-за скопления машин где-то впереди, из-за беспрерывных проверок документов Браудэ добрался до цели только через три часа.

Генерал-майор Артемьев ждал хирурга в квартире местного начальника лагеря. И Браудэ, и Артемьев были старые колымчане, судьба их сводила вместе уже не в первый раз.

— Что тут, война, что ли? — спросил Браудэ у генерала, когда они поздоровались.

— Война не война, а в первом сражении двадцать восемь убитых. А раненых посмотрите сами.

И пока Браудэ умывался из рукомойника, привешенного у двери, генерал рассказал ему о побеге.

— А вы, — сказал Браудэ, закуривая, — вызвали самолеты, что ли? Две-три эскадрильи, и бомбили, бомбили... Или прямо атомной бомбой?

— Вам всё смешки, — сказал генерал-майор. — А я без всяких шуток жду приказа. Да еще хорошо — уволят из охраны, а то ведь с преданием суду. Всякое бывало.

Да, Браудэ знал, что всякое бывало. Несколько лет назад три тысячи человек были посланы зимой пешком в один из портов, где склады были на берегу и были уничтожены бурей, пока «этап» шел. Из трех тысяч человек в живых осталось человек триста. И заместитель начальника управления, подписавший распоряжение о выходе «этапа», был принесен в жертву и отдан под суд.

Браудэ с фельдшерами до вечера извлекали пули, ампутировали, перевязывали. Раненые были только солдаты охраны — ни одного беглеца среди них не было.

На другой день к вечеру привезли опять раненых. Окруженные офицерами охраны два солдата принесли носилки с первым и единственным беглецом, которого увидел Браудэ. Беглец был в военной форме и отличался от солдат только небритостью. У него были огнестрельные переломы обеих голеней, огнестрельный

перелом левого плеча, рана головы с повреждением теменной кости. Беглец был без сознания.

Браудэ оказал ему первую помощь и, по приказу Артемьева, вместе с конвоирами повез раненого к себе в большую больницу, где были надлежащие условия для серьезной операции.

Всё было кончено. Невдалеке стоял военный грузовик, покрытый брезентом, — там были сложены тела убитых беглецов. И рядом — вторая машина с телами убитых солдат.

А майор Пугачев полз по краю ущелья.

Можно было распустить армию по домам после этой победы, но еще много дней грузовики с солдатами разъезжали взад и вперед по всем участкам двухтысячекилометрового шоссе.

Двенадцатого — майора Пугачева — не было.

Солдатова долго лечили и вылечили — чтобы расстрелять. Впрочем, это был единственный смертный приговор из шестидесяти — такое количество друзей и знакомых беглецов угодило «под трибунал». Начальник местного лагеря получил десять лет. Начальница санитарной части доктор Поталина по суду была оправдана, и едва закончился процесс, она переменила место работы. Генерал-майор Артемьев как в воду глядел — он был снят с работы, уволен со службы в охране.

. . . .

Пугачев с трудом сполз в узкую горловину пещеры — это была медвежья берлога, зимняя квартира зверя, который давно уже вышел и бродит по тайге. На стенах пещеры и на камнях ее дна попадались медвежьи волоски.

«Вот как скоро всё кончилось, — думал Пугачев. — Приведут собак и найдут. И возьмут».

И, лежа в пещере, он вспомнил свою жизнь — трудную мужскую жизнь, жизнь, которая кончается сейчас на медвежьей таежной тропе. Вспомнил людей — всех, кого он уважал и любил, начиная с собственной матери. Вспомнил школьную учительницу Марию Ивановну, которая ходила в какой-то ватной кофте, покрытой порыжевшим вытертым черным бархатом. И много, много людей еще, с кем сводила его судьба, припомнил он.

Но лучше всех, достойнее всех были его одиннадцать умерших товарищей. Никто их тех, других людей его жизни не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протя-

нуть руки к свободе. И в бою умереть. Да, это были лучшие люди его жизни.

Пугачев сорвал бруснику, которая кустилась на камне у самого входа в пещеру. Сизая морщинистая прошлогодняя ягода лопнула у него в пальцах, и он облизал пальцы. Перезревшая ягода была безвкусна, как снеговая вода. Ягодная кожица пристала к иссохшему языку.

Да, это были лучшие люди. И Ашота фамилию он знал теперь — Хачатурян.

Майор Пугачев припомнил их всех — одного за другим — и улыбнулся каждому. Затем вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил.

По лендлизу

Свежие тракторные следы на болоте были следами какого-то доисторического зверя, меньше всего это была поставка по лендлизу американской техники.

Мы, заключенные, слышали об этих заморских дарах, внесших смятение в чувства лагерного начальства. Поношенные вязаные костюмы, подержанные полуверы и джемперы, собранные за океаном для колымских заключенных, расхватали чуть не в драку магаданские генеральские жены. В списках эти шерстяные сокровища обозначались словом «подержанные», что, разумеется, много выразительнее прилагательного «поношенные» или всяких и всяческих «б/у» — «бывших в употреблении», знакомых только лагерному уху. В слове «подержанные» есть какая-то таинственная неопределенность, будто подержали в руках или дома в шкафу — и вот костюм стал «подержанным», не утратив ни одного из своих многочисленных качеств, о которых и думать было нельзя, если бы в документ вводили слово «поношенный».

Колбаса по лендлизу была вовсе не подержанной, но мы видели эти сказочные банки только издали. Свиная тушёнка по лендлизу, пузатые баночки — вот это блюдо мы хорошо знали. Отсчитанная, отмеренная по очень сложной таблице замены, свиная тушёнка, раскраденная жадными руками начальников и еще раз пересчитанная, еще раз отмеренная перед запуском в котел, разваренная там, превратившаяся в таинственные волосинки,

пахнущие чем угодно, только не мясом, — свиная тушёнка по лендлизу будоражила только наше зрение, но не вкус. Свиная тушёнка по лендлизу, запущенная в лагерный котел, никакого вкуса не имела. Желудки лагерников предпочитали что-нибудь отечественное, вроде гнилой старой оленины, которую и в семи лагерных котлах не разварить. Оленина не исчезает, не становится эфемерной, как тушёнка.

Овсяная крупа по лендлизу — ее мы одобряли, ели. Всё равно, больше двух столовых ложек каши на порцию не выходило.

Но и техника шла по лендлизу — техника, которую нельзя съесть: неудобные топорики-томагавки, удобнейшие лопаты с нерусскими, экономящими силу грузчика короткими черенками. Лопаты вмиг переодевались на длинные черенки по отечественному образцу, сама же лопата расплющивалась, чтобы захватить, подцепить побольше грунта.

Глицерин в бочках! Глицерин! Сторож в первую же ночь отчерпал котелком ведро жидкого глицерина, распродал в ту же ночь лагерникам как «американский медок» и обогатился.

А еще по лендлизу были огромные черные пятидесятитонные даймонды с прицепами и железными бортами; пятитонные, берущие легко любую гору студебеккеры — лучше этих машин и не было на Колыме. На этих студебеккерах и даймондах развозили по всей тысячеверстной «трассе» день и ночь полученную по лендлизу американскую пшеницу в белых красивых полотняных мешках с американским орлом. Пухлые безвкуснейшие «пайки» выпекались из этой муки. Этот хлеб по лендлизу обладал удивительным качеством. Все, кто ел этот хлеб по лендлизу, перестали ходить в уборную; раз в пять суток желудок извергал что-то, что и извержением назваться не может. Желудок и кишечник лагерника впитывали этот великолепный белый хлеб с примесью кукурузы, костяной муки и чего-то еще, кажется, простой человеческой надежды, весь без остатка, и не пришло еще время подсчитывать спасенных именно этой заморской пшеницей.

Студебеккеры и даймонды сжирали много бензина. Но и бензин шел по лендлизу, светлый авиационный бензин. Отечественные машины — газики — были переоборудованы под дровяное отопление: две печки-колонки, поставленные близ мотора, топились чурками. Возникло слово «чурка» и несколько Чурочных комбинатов, во главе которых были поставлены партийцы-договорники. Техническое руководство на этих Чурочных комбинатах обеспечивалось главным инженером, инженером просто, нормировщиком, плановиком, бухгалтерами. Сколько работяг —

два или три — в смену на каждом таком Чурочном комбинате пилило на циркулярной пиле чурки, я не помню. Может быть, даже и три. Техника шла по лендлизу, и к нам пришел трактор и принес в наш язык новое слово «бульдозер».

Доисторический зверь был спущен с цепи, — пущен на своих гусеничных цепях американский бульдозер со сверкающим, как зеркало, широким ножом, навесным металлическим щитом — отвалом. Зеркалом, отражающим небо, деревья и звезды, отражающим грязные арестантские лица. И даже конвоир подошел к заморскому чуду и сказал, что можно бриться перед этим железным зеркалом. Но нам бриться было не надо — такая мысль не могла прийти в наши головы.

На морозном воздухе долго были слышны вздохи, кряхтенье нового американского зверя. Бульдозер кашлял на морозе, сердился. Вот он запыхтел, заворчал и смело двинулся вперед, приминая кочки, легко перебираясь через пни, — заморская помощь.

Теперь нам не надо будет трелевать свинцовые бревна даурской лиственницы — строевой лес и дрова рассыпаны были по лесу на склоне горы. Ручная подтаска к штабелям — это и называется веселым словом «трелевка» — на Колыме непосильна, невыносима. По кочкам, по узким извилистым тропкам, на склоне горы — ручная трелевка непосильна. Посылали во время оно — до тридцать восьмого года — лошадей, но лошади переносят Север хуже людей, оказались слабее людей, умерли, не выдержав этой трелевки. Теперь на помощь нам (нам ли?) пришел отвальный нож заморского бульдозера.

Никто из нас не хотел и думать, что вместо тяжелой непосильной трелевки, которую ненавидели все, нам дадут какую-то легкую работу. Нам просто увеличат норму на лесоповале — все равно придется делать что-то другое, столь же унизительное, столь же презренное, как всякий лагерный труд. Отмороженные пальцы наши не вылечит американский бульдозер. Но, может быть, — американский солидол! Ах, солидол, солидол. Бочка, в которой был привезен солидол, была атакована сразу же толпой доходяг, дно бочки было выбито тут же камнем.

Голодные сказали, что это — сливочное масло по лендлизу, и осталось меньше полбочки, когда был поставлен часовой, и начальство выстрелами отогнало толпу доходяг от бочки с солидолом. Счастливцы глотали это сливочное масло по лендлизу, не веря, что это просто солидол, — ведь целебный американский хлеб тоже был безвкусен, тоже имел этот странный железный вкус. И все, кому удалось коснуться солидола, несколько часов

облизывали пальцы, глотали мельчайшие кусочки этого заморского счастья, по вкусу похожего на молодой камень. Ведь камень тоже родился не камнем, а мягким маслообразным существом. Существом, а не веществом. Веществом камень бывает в старости. Молодые жидкие туфы известковых пород в горах зачаровывали глаза беглецов и рабочих геологических разведок. Нужно было усилие воли, чтобы оторваться от этих кисельных берегов, этих молочных рек текучего молодого камня. Но там была гора, скала, распадок, а здесь — поставка по лендлизу, изделие человеческих рук...

С теми, кто запустил руки в бочку, не случилось ничего недоброго. Желудок и кишечник, тренированные на Колыме, справились с солидолом. А к остаткам поставили часового, ибо солидол — пища машин, существ бесконечно более важных для государства, чем люди.

И вот одно из этих существ прибыло к нам из-за океана — символ победы, дружбы и чего-то еще.

Триста человек бесконечно завидовали арестанту, сидевшему за рулем американского трактора, — Гриньке Лебедеву. Среди заключенных были трактористы и получше Лебедева, но всё это были пятьдесят восьмая, литерники, литёрки. Гринька Лебедев был бытовик, отцеубийца, если поточнее. Каждому из трехсот виделось его земное счастье: стрекоча, сидя за рулем хорошо смазанного трактора, прогрохотать на лесоповал.

Лесоповал отходил всё дальше и дальше. Заготовка строевого леса на Колыме ведется в руслах ручьев, где в глубоких ущельях, вытягиваясь за солнцем, деревья в темноте, укрытые от ветра, набирают высоту. На ветру, на свету, на болотистом склоне горы стоят карлики, изломанные, исковерканные, измученные вечным кружением за солнцем, вечной борьбой за кусочек оттаявшей почвы. Деревья на склонах гор похожи не на деревья, а на уродов, достойных кунсткамеры. И только в темных ущельях по руслам горных речек деревья набирают рост и силу. Заготовка леса подобна заготовке золота и ведется на тех же самых золотых ручьях, так же стремительна, тороплива — ручей, лоток, промывочный прибор, временный барак, стремительный хищнический рывок, оставляющий речку и край без леса — на триста лет, без золота — навечно.

Где-то существует лесничество, но о каком лесоводстве при зрелости лиственницы в триста лет можно говорить на Колыме во время войны, когда в ответ на лендлиз делается стремительный

рывок золотой лихорадки, обузданной, впрочем, караульными вышками «зон».

Много строевого леса, да и заготовленных, раскряжеванных дров было брошено по лесосекам. Много утонуло в снегу «комельков», которые упали на землю, едва взгромоздясь на хрупкие острые арестантские плечи. Слабые арестантские руки, десятки рук не могут поднять на чье-то плечо (и плеча такого нет) двухметровое бревно, оттащить за несколько десятков метров по кочкам, колдобинам и ямам чугунное это бревно. Много леса было брошено из-за непосильности «трелевки», и бульдозер должен был помочь нам.

Но для первого своего рейса на Колымской земле, на русской земле, бульдозеру была дана совсем другая работа.

Мы увидели, как стрекочущий бульдозер повернул налево и стал подниматься на террасу, на уступ скалы, где была старая дорога мимо лагерного кладбища, по которой нас сотни раз «гоняли» на работу.

Я не задумывался, почему последние недели нас водят на работу другой дорогой, а не гонят по знакомой, выбитой каблуками сапог конвоя и резиновыми чунями заключенных тропе. Новая дорога была вдвое длиннее старой. На каждом шагу были подъемы и спуски. Мы уставали, пока добирались до места работы. Но никто не спрашивал, почему нас водят другой дорогой.

Так надо, таков приказ, и мы ползли на четвереньках, цепляясь за камни, разбивая пальцы о камень в кровь.

Только сейчас я увидел и понял, в чем дело. И поблагодарил Бога, что Он дал мне время и силу видеть всё это.

Лесоповал прошел вперед. Склон горы был оголен, снег, еще неглубокий, выдут ветром. Пеньки выдернуты до последнего — под большие подкладывался заряд аммонала, и пенек взлетал вверх. Пеньки поменьше выворачивались вагами. Еще поменьше — просто руками, как стланиковые кусты...

Гора оголена и превращена в гигантскую сцену спектакля, лагерной мистерии.

Могила, арестантская общая могила, каменная яма, доверху набитая нетленными мертвецами, еще в тридцать восьмом году осыпалась. Мертвецы ползли по склону горы, открывая колымскую тайну.

На Колыме тела предают не земле, а камню. Камень хранит и открывает тайны. Камень надежней земли. Вечная мерзлота хранит и открывает тайны. Каждый из наших близких, погибших

на Колыме, каждый из расстрелянных, забитых, обескровленных голодом может быть еще опознан, хоть через десятки лет. На Колыме не было газовых печей. Трупы ждут в камне, в вечной мерзлоте.

В тридцать восьмом году на золотых приисках на рытье таких могил стояли целые бригады, беспрерывно буря, взрывая, углубляя огромные серые жесткие холодные каменные ямы. Копать могилы в тридцать восьмом году было легкой работой — там не было «урока», «нормы», рассчитанной на смерть человека, расчисленной на четырнадцатичасовой рабочий день. Копать могилы было легче, чем стоять в резиновых чунях на босу ногу в ледяной воде золотого забоя — «основного производства», «первого металла».

Эти могилы, огромные каменные ямы, доверху были заполнены мертвецами. Нетленные мертвецы, голые скелеты, обтянутые кожей, грязной, расчесанной, искусанной вшами кожей.

Камень, Север сопротивлялись всеми силами этой работе человека, не пуская мертвецов в свои недра. Камень, уступавший, побежденный, униженный, обещался ничего не забывать, обещался ждать и беречь тайну. Суровые зимы, горячие лета, ветры, дожди за шесть лет отняли мертвецов у камня. Раскрылась земля, показывая свои подземные кладовые, ибо в подземных кладовых Колымы — не только золото, не только олово, не только вольфрам, не только уран, но и нетленные человеческие тела.

Эти человеческие тела ползли по склону, может быть, собираясь воскреснуть. Я и раньше видел издали — с другой стороны ручья — эти движущиеся, зацепившиеся за сучья, за камни предметы, видел сквозь редкий вырубленный лес и думал, что это бревна, не трелеванные еще бревна.

Сейчас гора была оголена, и тайна горы открыта. Могила «разверзлась», и мертвецы ползли по каменному склону. Около тракторной дороги была выбита, вырублена — кем? из барака на эту работу не брали — огромная новая братская могила. Очень большая. И я, и мои товарищи, если замерзнем, умрем — для нас найдется место в этой новой могиле, новоселье для мертвецов.

Бульдозер сгребал эти окоченевшие трупы, тысячи трупов, тысячи скелетоподобных мертвецов. Всё было нетленно: скрюченные пальцы рук, гноящиеся пальцы ног — культи после обморожений, расчесанная в кровь сухая кожа и горящие голодным блеском глаза.

Уставшим, измученным своим мозгом я пытался понять: откуда в этих краях такая огромная могила? Ведь здесь не было, кажется, золотого прииска, я — старый колымчанин. Но потом я подумал, что знаю только кусочек этого мира, огороженный проволочной зоной с караульными вышками, напоминающими шатровые страницы градостроительства Москвы. Высотные здания Москвы — это караульные вышки, охраняющие московских арестантов, вот как выглядят эти здания. И у кого был приоритет: у Кремлевских ли башен-караулок или у лагерных вышек, послуживших образцом для Московской архитектуры? Вышка лагерной «зоны» — вот была главная идея времени, блестяще выраженная архитектурной символикой.

Я подумал, что знаю только кусочек этого мира, ничтожную маленькую часть, что в двадцати километрах может стоять избушка геологоразведчиков, следящих уран или золотой прииск на тридцать тысяч заключенных. В складках гор можно спрятать очень много.

А потом я вспомнил жадный огонь кипрея, яростное цветение летней тайги, пытающейся скрыть в траве, в листве любое человеческое дело — хорошее и дурное. Что трава еще более забывчива, чем человек. И если забуду я, трава забудет. Но камень и вечная мерзлота не забудут.

Гриня Лебедев, отцеубийца, был хорошим трактористом и уверенно управлял хорошо смазанным заморским трактором. Гриня Лебедев тщательно делал свое дело: блестя бульдозерным ножом-щитом, подгребая трупы к могиле, сталкивал в яму, снова возвращался трелевать.

Начальство решило, что первым рейсом, первой работой бульдозера, полученного по лендлизу, будет не работа в лесу, а гораздо более важное дело.

Работа была кончена. Бульдозер нагреб на новую могилу кучу камней, щебня, и мертвецы скрылись под камнем. Но не исчезли.

Бульдозер приближался к нам. Гриня Лебедев, бытовик, отцеубийца, не смотрел на нас — литерников, пятьдесят восьмую. Грине Лебедеву было поручено государственное задание, и он это задание выполнил. На каменном лице Грини Лебедева была высечена гордость, сознание исполненного долга.

Бульдозер прогрохотал мимо нас — на зеркале-ноже не было ни одной царапины, ни одного пятна.

Любовь капитана Толли

Самая легкая работа в забойной бригаде на золоте — это работа траповщика, плотника, который наращивает трап: сшивает гвоздями доски, по которым катают тачки с «песками» к бутаре, к промывочному прибору. Деревянные «усики» доводятся до каждого забоя от центрального трапа. Всё это сверху, с бутары, похоже на гигантскую сороконожку, расплющенную, высохшую и пригвожденную навек ко дну золотого «разреза».

Работа траповщика — «кант» — легкая работа по сравнению с забойщиком или тачечником. В руках траповщика не бывает ни рукоятей тачки, ни лопаты, ни лома, ни кайла. Топор и горсть гвоздей — вот его инструмент. Обычно на этой необходимой, обязательной, важной работе траповщика бригадир чередует работяг, давая им хоть маленький отдых. Конечно, пальцы, намертво, навсегда обнявшие черенок лопаты или кайловище, не разогнутся в один день легкой работы — на это нужно год или больше безделья. Но какая-то капля справедливости в этом чередовании легкого и тяжелого труда есть. Тут нет очередности — кто послабее, тот имеет лучший шанс проработать хоть день траповщиком. Для того, чтобы прибивать гвозди и подтёсывать доски, ни столяром, ни плотником быть не надо. Люди с высоким образованием прекрасно с этой работой справлялись.

В нашей бригаде этот «кант» не чередовался. Место траповщика занимал в бригаде всегда один и тот же человек — Исай Рабинович, бывший управляющий Госстрахом Союза. Рабиновичу было шестьдесят восемь лет, но старик он был крепкий и надеялся выдержать десятилетний свой лагерный срок. В лагере убивает работа, поэтому всякий, кто хвалит лагерный труд, — подлец или дурак. Двадцатилетние, тридцатилетние умирали один за другим — для того их и привезли в это «спецзону», а траповщик Рабинович жил. Были у него какие-то знакомства с лагерным начальством, какие-то таинственные связи, ибо Рабинович то работал в хозчасти временно, то конторщиком — Исай Рабинович понимал, что каждый день и каждый час, проведенные не в забое, обещают ему жизнь, спасение, тогда как забой — только гибель, смерть. В спецзону не надо бы завозить стариков пенсионного возраста. Анкетные данные Рабиновича привели его в спецзону, на смерть.

И тут Рабинович заупрямился, не захотел умирать.

И однажды нас заперли вместе, «изолировали» на Первое мая, как делали каждый год.

— Я давно слежу за вами, — сказал Рабинович, — и мне было неожиданно приятно знать, что кто-то за мной следит, кто-то меня изучает — не из тех, кому это делать надлежит.

Я улыбнулся Рабиновичу кривой своей улыбкой, разрывающей раненые губы, раздирающей цинготные десны.

— Вы, наверное, хороший человек. Вы никогда не говорите о женщинах грязно.

— Не следил, Исай Давыдович, за собой. А разве и здесь говорят о женщинах?

— Говорят. Только вы не вмешиваетесь в этот разговор.

— Сказать вам правду, Исай Давыдович, я считаю женщин лучше мужчин. Я понимаю единство двуединого человека, мужа и жены, и так далее. И всё же материнство, труд. Женщины и работают лучше мужчин.

— Истинная правда, — сказал сосед Рабиновича бухгалтер Безноженько. — На всех ударниках, на всех субботниках лучше не вставай рядом с бабой — замучает, загоняет. Ты — покурить, а она сердится.

— Да и это, — рассеянно сказал Рабинович. — Наверное, наверное... Вот Колыма, — продолжал он. — Очень много женщин приехали сюда за мужьями — ужасная судьба, ухаживания начальства, всех этих хамов, которые позаразились сифилисом. Вы знаете всё это не хуже меня. И ни один мужчина не приехал за сосланной и осужденной женой. Управляющим Госстрахом я был очень недолго, — говорил Рабинович. — Но достаточно, чтоб «схватить десятку». Я много лет заведовал внешним активом Госстраха. Понимаете, в чем дело?

— Понимаю, — сказал я безрассудно, ибо я не понимал.

Рабинович улыбнулся очень прилично и очень вежливо.

— Кроме госстраховской работы за границей...

И вдруг, поглядев мне в глаза, Рабинович почувствовал, что мне ничего не интересно. По крайней мере до обеда.

Разговор возобновился после ложки супу.

— Хотите, я расскажу вам о себе. Я много жил за границей, и сейчас в больницах, где я лежал, в бараках, где я жил, все просили меня рассказать об одном: как, где и что я там ел. Гастрономические мотивы. Гастрономические кошмары, мечты, сны. Надо ли вам такой рассказ?

— Да, мне тоже, — сказал я.

— Хорошо. Я — страховой агент из Одессы. Работал в «Рос-

сии» — было такое страховое агентство. Был молодой, старался сделать для хозяина как можно честнее и лучше. Изучил языки. Меня послали за границу. Женился на дочери хозяина. Жил за границей до самой революции. Революция не очень испугала моего хозяина — он, как и Савва Морозов, делал ставку на большевиков. Я был за границей в революцию с женой и дочерью. Тесть мой умер как-то случайно, не от революции. Знакомство у меня было большое, но для моих знакомств не нужна была Октябрьская революция. Вы поняли меня?

— Да.

— Советская власть только становилась на ноги. Ко мне приехали люди — Россия, РСФСР, делала первые покупки за границей. Нужен кредит. А для получения кредита недостаточно обязательства Госбанка. Но достаточно моей записки и моей рекомендации. Так я связал Крейгера, спичечного короля, с РСФСР. Несколько таких операций — и мне позволили вернуться на родину, и я там занимался некоторыми деликатными делами. Вы про продажу Шпицбергена и расчет по этой продаже что-нибудь слышали?

— Немножко слышал.

— Так вот — я перегружал норвежское золото в Северном море на нашу шхуну. Вот, кроме внешних активов, ряд поручений в таком роде. Новым моим хозяином стала советская власть. Я служил, как и в страховом обществе, — честно.

Смышленые спокойные глаза Рабиновича смотрели на меня.

— Я умру. Я уже старик. Я видел жизнь. Мне жаль жену. Жена в Москве. И дочь в Москве. Еще не попали в облаву для членов семьи... Увидеть их уж, видно, не придется. Они мне пишут часто. Посылки шлют. Вам шлют? Посылки шлют?

— Нет. Я написал, что не надо посылок. Если выживу, то без всякой посторонней помощи. Буду обязан только себе.

— В этом есть что-то рыцарское. Жена и дочь не поймут.

— Совсем не рыцарское, а мы с вами не то что по ту сторону добра и зла, а вне всего человеческого. После того, что я видел, — я не хочу быть обязанным в чем-то никому, даже собственной жене.

— Туманно. А я — пишу и прошу. Посылки — это должность в хозобслуге на месяц, костюм свой лучший я отдал за эту должность. Вы думаете, наверное, начальник пожалел старика...

— Я думал, у вас с лагерным начальством какие-нибудь особые отношения.

— Стукач я, что ли? Ну кому нужен семидесятилетний сту-

кач? Нет, я просто дал взятку, большую взятку. И живу. И ни с кем результатом этой взятки не поделился, даже с вами. Получаю, пишу и прошу.

После майского сидения мы вернулись в барак вместе, заняли места рядом — на нарах вагонной системы. Мы не то что подружились — подружиться в лагере нельзя, а просто с уважением относились друг к другу. У меня был большой лагерный опыт, а у старика Рабиновича было молодое любопытство к жизни. Увидев, что мою злость подавить нельзя, он стал относиться ко мне с уважением, с уважением — не больше. А может быть, это была стариковская тоска по вагонной привычке рассказывать о себе первому встречному. О жизни, которую хотелось оставить на земле.

Вши не пугали нас. Как раз во время знакомства с Исаем Рабиновичем у меня и украли мой шарф — бумажный, конечно, но всё же вязаный настоящий шарф.

Мы вместе выходили на развод, на развод «без последнего», как ярко и страшно называют такие разводы в лагерях. Развод «без последнего». Надзиратели хватали людей, конвоир толкал прикладом, сбивая, сгоняя толпу оборванцев с ледяной горы, спуская их вниз, а кто не успел, опоздал (это и называлось «развод без последнего»), того хватали за руки и за ноги, раскачивали и швыряли вниз по ледяной горе. И я, и Рабинович стремились скорее прыгнуть вниз, выстроиться и докатиться до площадки внизу, где конвой уже ожидал и зуботычинами строил на работу, в ряды. В большинстве случаев нам удавалось скатиться вполне благополучно, удавалось живыми добрести до забоя — а там, что Бог даст.

Последнего, кто опоздал, кого сбросили с горы, привязывали к конским волокушам за ноги и волокли в забой на место работы. И Рабинович, и я счастливо избегали этого смертного катанья.

Место для лагерной зоны было выбрано с таким расчетом: возвращаться с работы приходилось в гору, карабкаясь по ступенькам, цепляясь за остатки оголенных, обломанных кустиков, ползти вверх. После рабочего дня в золотом забое, казалось бы, человек не найдет сил, чтобы ползти вверх. И всё же — ползли. И — пусть через полчаса, час — приползали к воротам вахты, к «зоне», к баракам, к жилищу. На фронтоне ворот была обычная надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Шли в столовую, что-то пили из мисок, шли в барак, ложились спать. Утром всё начиналось сначала.

Здесь голодали не все, — а почему это так, я не узнал никогда. Когда стало теплей, к весне, начались белые ночи, и в лагерной столовой начались страшные игры «на живца». На пустой стол клали пайку хлеба, потом прятались за угол и ждали, пока голодная жертва — доходяга какой-нибудь — подойдет, завороженный хлебом, и дотронется, схватит эту пайку. Тогда все бросались из угла, из темноты, из засады, и начинались смертные побои вора, живого скелета — новое развлечение, которого я нигде, кроме Джелгалы, не встречал. Организатором этих развлечений был доктор Кривицкий, старый революционер, бывший заместитель наркома оборонной промышленности. Вкупе с журналистом из «Известий» Заславским, Кривицкий был главным организатором этих кровавых «живцов», этих страшных приманок.

У меня был шарф, бумажный, конечно, но вязаный, настоящий шарф. Фельдшер в больнице мне подарил, когда меня выписывали. Когда этап наш сгрузили на прииске Джелгала, передо мной возникло серое безулыбчатое лицо с глубоко засеченными северными морщинами, с пятнами старых обморожений.

— Сменяем!

— Нет.

— Продай!

— Нет.

Все местные — а их сбежалось к нашей машине десятка два — глядели на меня с удивлением, поражаясь моей опрометчивости, глупости, гордости.

— Это — староста, лагстароста, — подсказал мне кто-то, но я покачал головой.

На безулыбчатом лице двинулись вверх брови. Староста кивнул кому-то, показывая на меня.

Но на разбой, на грабеж в этой зоне не решались. Куда было проще другое — и я знал, какое это будет другое. Я завязал шарф узлом вокруг своей шеи и не снимал более никогда: ни в бане, ни ночью, никогда.

Шарф легко было бы сохранить, но мешали вши. Вшей было в шарфе столько, что шарф шевелился, когда я, чтобы отряхнуться от вшей, снимал шарф на минуту и укладывал на стол у лампы.

Недели две боролся я с тенями воров, уверяя себя, что это — тени, не воры. За две недели единственно я, повесив шарф на нары прямо перед собой, повернулся, чтоб налить кружку воды, — и шарф сейчас же исчез, схваченный опытной воровской рукой. Я так устал бороться за этот шарф, такого напряжения сил

требовала эта надвигающаяся кража, о которой я знал, которую я чувствовал, почти видел, что я обрадовался даже, что мне нечего хранить. И впервые после приезда на Джелгалу я заснул крепко и видел хороший сон. А может быть, потому, что тысячи вшей исчезли и тело сразу почувствовало облегчение.

Исай Рабинович с сочувствием следил за моей героической борьбой. Разумеется, он не помогал мне сохранить мой вшивый шарф — в лагере каждый за себя, да я и не ждал помощи.

Но Исай Рабинович работал несколько дней в хозчасти и сунул мне обеденный талон, утешая меня в моей потере. И я поблагодарил Рабиновича.

После работы все сразу ложатся, подстилая под себя свою грязную рабочую одежду.

Исай Рабинович сказал:

— Я хочу посоветоваться с вами по одному вопросу. Не лагерному.

— О генерале де Голле?

— Нет, да вы не смейтесь. Я получил важное письмо. То есть, это для меня оно важное.

Я прогнал набегающий сон напряжением всего тела, встряхнулся и стал слушать.

— Я уже говорил вам, что моя дочь и жена в Москве. Их не трогали. Дочь моя хочет выйти замуж. Я получил от нее письмо. И от ее жениха — вот, — и Рабинович вынул из-под подушки связку писем — пачку красивых листков, написанных четким и быстрым почерком. Я вгляделся — буквы были не русские, латинские.

— Москва разрешила переслать эти письма мне. Вы знаете английский?

— Я? Английский? Нет.

— Это по-английски. Это от жениха. Он просит разрешения на брак с моей дочерью. Он пишет: «Мои родители уже дали согласие, осталось только согласие родителей моей будущей жены. Я прошу вас, мой дорогой отец...» А вот письмо дочери. «Папа, мой муж, морской атташе Соединенных Штатов Америки, капитан I ранга Толли просит твоего разрешения на наш брак. Папа, отвечай скорее».

— Что за бред? — сказал я.

— Никакой это не бред, а письмо капитана Толли ко мне. И письмо моей дочери. И письмо жены.

Рабинович медленно нашарил вошь за пазухой, вытащил и раздавил на нарах.

— Ваша дочь просит разрешения на брак?

— Да.

— Жених вашей дочери, морской атташе Соединенных Штатов, капитан I ранга Толли просит разрешения на брак с вашей дочерью?

— Да.

— Так бегите к начальнику и подавайте заявление, чтобы разрешил отправить экстренное письмо.

— Но я не хочу давать разрешение на брак. Вот об этом я и хочу посоветоваться с вами.

Я был просто ошеломлен этими письмами, этими рассказами, этим поступком.

— Если я соглашусь на брак, я ее никогда больше не увижу. Она уедет с капитаном Толли.

— Слушайте, Исай Давыдович, вам скоро семьдесят лет. Я считаю вас разумным человеком.

— Это просто чувство, я еще не раздумывал над этим. Ответ я пошлю завтра. Пора спать.

— Давайте лучше отпразднуем это событие завтра. Съедим кашу раньше супа. А суп — после каши. Еще можно пожарить хлеба. Подсушить сухари. Сварить хлеб в воде. А? Исай Давыдович!

Даже землетрясение не удержало бы меня от сна, от сна-забытья. Я закрыл глаза и забыл про капитана Толли.

На следующий день Рабинович написал письмо и бросил в почтовый ящик около вахты.

Скоро меня увезли на суд, судили и через год привезли снова в ту же самую спецзону. Шарфа у меня не было, да и старосты того не было. Я приехал — обыкновенный лагерный доходяга, человек-фитиль без особых примет. Но Исай Рабинович узнал меня и принес кусок хлеба. Исай Давыдович укрепился в хозчасти и научился не думать о завтрашнем дне. Выучил Рабиновича забой.

— Вы, кажется, были здесь, когда дочь моя выходила замуж?

— Был, как же.

— История эта имеет продолжение.

— Говорите.

— Капитан Толли женился на моей дочери — на этом, кажется, я остановился, — начал рассказывать Рабинович. Глаза его улыбались. Прожил капитан I ранга Толли месяца три. Протанцевал три месяца. Получил линкор в Тихом океане и выехал

к месту своей новой службы. Дочери моей, жене капитана Толли, выезд не разрешили. Сталин смотрел на эти браки с иностранцами как на личное оскорбление, в Наркоминделе шептали капитану Толли: поезжай один, погуляй, молодчик, что тебя связывает? Женись еще раз. Словом, вот окончательный ответ — женщина эта останется дома. Капитан Толли уехал, и год от него не было писем. А через год мою дочь послали на работу в Стокгольм, в шведское посольство.

— Разведчицей, что ли? На секретную работу?

Рабинович неодобрительно посмотрел на меня, осуждая мою болтливость.

— Не знаю, не знаю, на какую работу. В посольство. Моя дочь проработала там неделю. Прилетел самолет из Америки, и она улетела к мужу. Теперь буду ждать писем не из Москвы.

— А здешнее начальство?

— Здешние боятся, по таким вопросам не смеют иметь свое суждение. Приезжал московский следователь, меня допросил по этому делу. И уехал.

Счастье Исая Рабиновича на этом не кончилось. Превыше всяких чудес было чудо окончания срока в срок, день в день, без зачетов рабочих дней.

Организм бывшего страхового агента был настолько крепок, что Исай Рабинович проработал еще вольнонаемным на Колыме в должности фининспектора. На материк Рабиновича не пустили. Рабинович умер года за два до XX съезда партии.

Менделист

На земле, у порога амбулатории были свежие следы медвежьих когтей. Замочек, хитрый винтовой замочек, которым запиралась дверь, валялся в кустах, вырванный вместе с пробоями, прямо «с мясом»...

Внутри домика пузырьки, бутылки, банки были сметены с полок на пол и превращены в стеклянную кашу. Грубый запах валерьяновых капель еще держался в домике.

Тетрадки фельдшерских курсов, где учился Андреев, были изорваны в клочья. Несколько часов Андреев с трудом, по листочку, собирал свои драгоценные записки — ведь никаких учебников на фельдшерских курсах не было. Для борьбы с болезнями фельдшер Андреев был вооружен в глубокой тайге только этими тетрадками. Одна из тетрадок пострадала больше других: тетрад-

ка по анатомии, и первый лист ее, где неумелой андреевской рукой, никогда не учившейся рисованию, была изображена схема деления клетки, элементы клеточного ядра, таинственные хромосомы. Медвежьи когти так яростно терзали этот чертеж, эту тетрадку с обложкой из целлюлозы, что тетрадку пришлось бросить в печку, в железную печку. Потеря была невознаградимой. Это был курс лекций профессора Уманского.

Фельдшерские курсы были при больнице для заключенных, а Уманский был патологоанатомом, прозектором, заведующим моргом. Патологоанатом — высший, как бы загробный контроль работы лечащих врачей. На «секции», на рассечении, на вскрытии трупа судят о правильности диагноза, правильности лечения.

Но морг для заключенных — это особый морг. Казалось бы, великая демократка смерть не должна была интересоваться, ктó лежит на секционном столе морга, не должна была говорить с трупами на разных языках.

Лечить заключенного больного, да еще заключенному врачу, не просто, если этот врач — не подлец.

И в больнице, и в морге для заключенных всё делается по той же самой форме, какую надлежит соблюдать в любой больнице мира. Но масштабы смещены — и истинное содержание «истории болезни» арестанта иное, чем «история болезни» вольнонаемного.

Тут дело не только в том, что представитель смерти — патологоанатом — сам еще живой человек с живыми страстями, обидами, достоинствами и недостатками, разным опытом. Тут дело в чем-то бóльшем, ибо официальной сухости протокола «секции» бывает мало и для жизни и для смерти.

Если больной умирал при диагнозе рака, а злокачественной опухоли при вскрытии не оказалось — было только глубочайшее, запущенное истощение, Уманский негодовал и не прощал врачей, не сумевших спасти от голода арестанта. Но если было видно, что врач понимает, в чем дело, и, не имея права назвать истинный диагноз «алиментарная дистрофия», лихорадочно ищет синонимов (голод в виде авитаминозов, полиавитаминозов, скорбут III, пеллагра, им же имя легион), Уманский помогал врачу своим твердым суждением. И больше того. Если врач хотел ограничиться вполне респектабельным диагнозом гриппозной пневмонии или сердечной недостаточностью, то указующий перст патологоанатома возвращал внимание врачей к лагерным особенностям любого заболевания.

Врачебная совесть Уманского тоже была связана, закована. Первый официальный диагноз «алиментарной дистрофии» был поставлен после войны, после Ленинградской блокады, когда голод и в лагерх назван был своим надлежащим словом.

Патологоанатому надо было бы быть судьей, а Уманский был сообщником... Потому-то он и был судьей, что мог быть сообщником. Как бы он ни был связан инструкцией, традицией, приказом, разъяснениями, Уманский смотрел глубже, дальше, принципиальней. Свои обязанности видел он не в том, чтобы ловить врачей на мелочах, на мелких ошибках, а в том, чтобы видеть — и указать другим! — то большое, что стояло за этими мелочами, тот «фон» голодного истощения, меняющий картину болезни, которую врач изучал по учебнику. Учебник болезней заключенных еще не был написан. Он никогда не был написан.

Отморожения в лагере — ошеломительны для приехавших с материка фронтовых хирургов. Лечение переломов ведется вопреки воле больных. Для того, чтобы попасть в туберкулезное отделение, больные возят с собой чужие «харчки» и берут в рот явно «бацильную» отраву перед анализом — при поступлении. Больные подбалтывают кровь в мочу, оцарапав собственный палец, чтобы попасть в больницу, чтобы хоть на день, хоть на час избавиться от самого страшного, что существует в заключении, — от убийственного и унизительного труда.

Уманский, как и все старые колымчане-врачи, знал всё это, одобрял и прощал. Учебник болезней заключенных не был написан.

Уманский получил медицинское образование в Брюсселе, а в революцию вернулся в Россию, жил в Одессе, лечил...

В лагере он понял, что для совести спокойней резать мертвых, а не лечить живых. Уманский стал заведующим моргом, патологоанатомом.

Семидесятилетний, еще не дряхлый старик с расшатанным протезом обеих челюстей, серебряной головой, коротко остриженный по-арестантски, остряк с вздернутым носом вошел в класс.

Для курсантов его лекция имела особое значение. Не потому, что это была первая лекция, а потому, что отныне, с первого слова, сказанного профессором Уманским, курсы начинали жить, начинали существовать въявь и всерьез, какой бы ни казалось это курсантам сказкой. Время тревог миновало. Решение об открытии курсов принято. Для многих навсегда не будет изнурительного труда в золотых забоях, повседневной борьбы за жизнь.

Ученье начато курсом лекций профессора Уманского: «Анатомия и физиология человека».

Серебряноголовый старик в расстегнутом полушубке, черном поношенном полушубке — полушубке, не в ватном бушлате, как ходили мы — подошел к доске и взял огромный кусок мела в свой маленький кулачок. Скомканную шапку-ушанку профессор бросил на стол — был апрель, холодно было еще.

— Я начну свои лекции с рассказа о строении клетки. Сейчас много споров в науке...

Где? Каких споров? Прошлая жизнь всех тридцати человек — от бывшего следователя до продавца из сельмага — была очень далека от жизни любой науки... Прошлая жизнь курсантов была более далека от нас, чем загробная — в этом-то уж каждый из курсантов был уверен... Какое им было дело до каких-то споров в какой-то науке. Да и что это за наука — анатомия? физиология? биология? микробиология? Ни один курсант не сказал бы в тот день, что это такое «биология». Те курсанты, что были пограмотней других, достаточно много голодали, чтобы не сохранить интереса к спорам в какой-то науке...

— ...много споров в науке. Сейчас принято излагать эту часть курса по-другому, но я буду рассказывать вам так, как считаю верным. Я договорился с вашей администрацией, что этот раздел буду излагать по-своему.

Андреев попробовал вообразить себе эту администрацию, с которой договорился брюссельский профессор: начальник больницы, который острым взглядом вахтера пронизывал каждого курсанта на вступительном экзамене; или пахнущий спиртом, икающий красноносый исполняющий обязанности начальника санотдела. Больше никакой высшей администрации Андреев придумать, вообразить не мог.

— ...этот раздел буду излагать по-своему. И перед вами я не хочу скрывать своего мнения.

— «Скрывать своего мнения», — повторил шепотом Андреев, восхищенный этими необыкновенными словами из необыкновенной науки.

— ...не хочу скрывать своего мнения. Я — менделист, друзья мои...

Уманский сделал паузу, чтобы мы могли оценить его смелость и его деликатность.

Менделист? Это курсантам было всё равно.

Никто из тридцати человек не знал и никогда не узнал, что

такое митоз и что такое нуклеопротеидные нити — хромосомы, содержащие дезоксирибонуклеиновую кислоту.

Не интересовалась дезоксирибонуклеиновой кислотой и администрация больницы.

Но прошел год-два, всю общественную жизнь по разным направлениям прорезали темные лучи биологической дискуссии, и слово «менделист» стало достаточно ясным понятием для следователей со средним юридическим образованием и для обыкновенных людей, подверженных бурям политических репрессий. «Менделист-морганист-вейсманист» зазвучало грозно, зазвучало зловеще, вроде хорошо известных «троцкист» и «космополит».

Именно тогда, через год после биологической «дискуссии», Андреев вспомнил и оценил и смелость и деликатность старика Уманского.

Тридцать карандашей рисовало в тридцати тетрадях воображаемые хромосомы. Вот эта-то тетрадка с хромосомами и вызвала особенную ярость медведя.

Не только таинственными хромосомами, не только снисходительными и умными «секциями» запомнился Андрееву Уманский.

В конце курса, когда новобранцы медицины уже чувствовали на себе белый фельдшерский халат, отделяющий медиков от обыкновенных смертных, Уманский вновь выступил со странным заявлением.

— Я не буду вам читать анатомию половых органов. Я договорился с вашей администрацией. Для прошлых выпусков эта часть читалась. Доброго не получилось ничего. Лучше отдам эти часы для терапевтической практики — банки по крайней мере научитесь ставить.

Так курсанты и получили дипломы, не проходя важного раздела анатомии. Но разве только этого не знали будущие фельдшера?

Через месяц-два после начала курсов, когда вечно сосущий голод удалось остановить, побороть, заглушить и Андреев уже не бросался поднимать каждый окурок, который видел на дороге, на улице, на земле, на полу, и на лице Андреева стали проступать какие-то новые — или старые? — человеческие черты, сам взгляд, не только глаза, стал более человеческим, Андреев был приглашен пить чай к профессору Уманскому.

Поцарапанная эмалированная кружка с горячим чаем ждала Андреева. Рядом с кружкой стоял стакан хозяина — настоящий стеклянный стакан, зеленоватый, мутный и невероятно грязный

даже на привыкший ко всему андреевский взгляд. Уманский никогда не мыл своего стакана. Это тоже было открытием Уманского, его вкладом в науку гигиену, принципом, который проводился Уманским в жизнь со всей твердостью, настойчивостью и педагогической нетерпимостью.

— Немытый стакан в наших условиях чище, стерильнее, чем мытый. Это — лучшая гигиена, единственная, может быть... Вы поняли?

Уманский пощелкал пальцами.

— В полотенце больше инфекции, чем в воздухе. Эрго: стакан не следует мыть. У меня староверский, личный стакан. И полоскать не следует — в воздухе меньше инфекции, чем в воде. Азбука санитарии и гигиены. Вы поняли?

Уманский прищурился.

— Это — открытие не только для морга.

Чай — это был именно чай. Хлеба и сахару тут не полагалось, да Андреев и не ждал такого чаепития с хлебом. Чай — это была вечерняя беседа с профессором Уманским, беседа в тепле, беседа один на один.

Уманский жил в морге, в канцелярии морга. Двери в прозекторскую вовсе не было, и секционный стол, застеленный, впрочем, клеенкой, был виден из комнаты Уманского из всех углов. Дверь в прозекторскую не существовала, но Уманский принюхался ко всем запахам на свете и вел себя так, как будто дверь — есть. Андреев не сразу сообразил, чтó именно делает комнату — комнатой, а потом понял, что комнатный пол настлан на полметра выше, чем пол прозекторской. Работа кончалась, и на свой рабочий стол Уманский ставил фотографию молодой женщины, фотографию в жестяной какой-то оправе, заделанную грубо и неровно зеленоватым оконным стеклом. Личная жизнь профессора Уманского и начиналась с этого выверенного, привычного движения. Пальцы правой руки хватались за доску выдвижного ящика, вытаскивали ящик, упирая его в живот профессора. Левой рукой Уманский доставал фотографию и ставил на стол перед собой...

— Дочь?

— Да. Если сын, было бы гораздо хуже, не правда ли?

Разницу между сыном и дочерью для заключенного Андреев понимал хорошо. Из ящиков стола — ящиков оказалось очень много — профессор Уманский извлек бесчисленные листы нарезанной рулонной бумаги, измятой, изношенной, расчерченной на столбики, множество столбиков, множество строк. В каждую клеточку мелким почерком Уманского было вписано слово. Тысячи,

десятки тысяч слов, написанных выгоревшими от времени химическими чернилами, кой-где подновленных. Уманский знал, наверное, двадцать языков...

— Я знаю двадцать языков, — сказал Уманский. — Еще до Колымы знал. Отлично знаю древнееврейский. Это — корень всего. Здесь, в этом самом морге, в соседстве трупов я изучил арабский, тюркский, фарси, грузинский... Составил таблицу — сводку единого языка. Вы понимаете, в чем дело?

— Мне кажется, да, — сказал Андреев. — Мать — «муттер», брат — «брудер».

— Вот-вот, но — всё гораздо сложнее, важнее. Я сделал коекакие открытия. Этот словарь будет моим вкладом в науку, оправдает мою жизнь. Вы не лингвист?

— Нет, профессор, — сказал Андреев, и колющая боль пронзила его сердце — ему так захотелось в этот момент быть лингвистом.

— Жаль.

Чуть изменился чертеж морщин лица Уманского и снова сложился в привычное ироническое выражение.

— Жаль. Это занятие — интересней медицины. Но медицина — надежней, спасительней.

Уманский учился в Брюсселе. После революции вернулся на родину, работал врачом, лечил. Уманский разгадал суть тридцать седьмого года. Понимал, что его долгая заграничная жизнь, его знание языков, его свободомыслие — достаточный повод для репрессий; старик попытался перехитрить судьбу. Уманский сделал смелый ход — он поступил на службу в Дальстрой, завербовался на Колыму, на Дальний Север как врач и приехал в Магадан вольнонаемным. Лечил и жил. Увы, Уманский не учел универсализма действующих инструкций — Колыма его не спасла, как не спас бы и Северный полюс. Уманский был арестован, судим трибуналом и получил срок в десять лет. Дочь отказалась от «врага народа», исчезла из жизни Уманского, осталась только случайно сохраненная фотография на письменном столе брюссельского профессора. Десятилетний срок уже кончался, зачеты рабочих дней Уманский получал аккуратно и очень интересовался этими зачетами рабочих дней.

Еще в сорок шестом году, в больничном морге, после очередного чаепития с Андреевым и лингвистического заклинания, Уманский зашептал на ухо Андреева, почти задыхаясь:

— Самое главное — пережить Сталина. Все, кто переживет Сталина, — будут жить. Вы поняли? Не может быть, чтобы

проклятия миллионов людей на его голову не материализовались. Вы поняли? Он непременно умрет от этой ненависти всеобщей. У него будет рак или еще что-нибудь. Вы поняли? Мы еще будем жить.

Андреев молчал.

— Я понимаю и одобряю вашу осторожность, — сказал Уманский, уже не шепча. — Вы думаете, что я провокатор какой-нибудь? А мне семьдесят лет.

Андреев молчал.

— Вы правильно молчите, — сказал Уманский. — Провокаторы были и семидесятилетними стариками. Всё было...

Андреев молчал, восхищаясь Уманским, не в силах преодолеть себя и заговорить. Это безотчетное всесильное молчание было частью поведения, к которому привык Андреев за свою лагерную жизнь с множеством обвинений, следствий и допросов, внутренних правил, которые не так-то просто было нарушить, отбросить. Андреев пожал руку Уманского, сухую горячую маленькую старческую ладонь с цепкими горячими пальцами.

Когда профессор кончил срок, он получил пожизненное прикрепление к Магадану. Уманский умер 4 марта 1953 года, до последней минуты продолжая свою никому не завещанную, никем не продолженную работу по лингвистике. Профессор так никогда и не узнал, что создан электронный микроскоп и хромосомная теория получила экспериментальное подтверждение.

Погоня за паровозным дымом

Да, это было моей мечтой: услышать гудок паровоза, увидеть белый паровозный дым, стелющийся по откосу железнодорожной насыпи.

Я ждал белого дыма, ждал живого паровоза.

Мы ползли, изнемогая и не решаясь бросить бушлаты, полушубки, пятнадцать всего километров нам осталось до дома, до бараков. Но мы боялись бросить бушлаты и полушубки прямо на дороге, бросить в кювет и бежать, идти, ползти, избавиться от страшной тяжести одежды. Мы боялись бросить бушлаты — одежда через несколько минут превратится зимней ночью в мерзлый куст стланика, в камень обледеневший. Ночью мы ни-

когда не найдем одежды, она потеряется в зимней тайге, как терялась телогрейка летом среди кустов стланика, если не привязать к самой вершине кустов, как веху, веху жизни. Мы знали, что без бушлатов и полушубков мы не спасемся. И мы ползли, теряя силы, согреваясь в поту и — лишь остановить движение — чувствуя, как мертвящий холод проползает по бессильному телу, потерявшему свою главную способность — быть источником тепла, простого тепла, рождающего если не надежду, то злобу.

Мы ползли все вместе, вольные и заключенные. Шофер, у которого кончился бензин, остался ждать помощи, которую вызовем мы. Остался, собрав костер из единственного сухого дерева, которое оказалось под рукой, — из дорожных вешек. Спасение шофера грозило, может быть, смертью другим машинам — ведь все дорожные вешки были собраны, сломаны и положены в костер, горящий небольшим, но спасительным огнем, и шофер согнулся над костром, над пламенем, время от времени подкладывая очередную палочку, щепочку — шофер даже не думал согреться, погреться. Он только берег жизнь... Если бы шофер бросил машину, уполз вместе с нами по холодным острым камням горного шоссе, бросил груз — он получил бы срок. Шофер ждал, а мы ползли — за помощью.

Я полз, стараясь не сделать ни одной лишней мысли, мысли были, как движения — энергия не должна быть потрачена ни на что другое, как только на царапанье, переваливание, перетаскивание своего собственного тела вперед по зимней ночной дороге.

И всё же паровозным дымом казалось наше собственное дыхание на пятидесятиградусном морозе. Серебряные лиственницы в тайге казались взрывом паровозного дыма. Белая мгла, которой было закрыто небо и наполнена наша ночь, тоже была паровозным дымом, дымом моей многолетней мечты. В этом безмолвии белом я услышал не шум ветра, услышал музыкальную фразу с неба и ясный, мелодичный, звонкий человеческий голос, звучащий прямо в морозном воздухе над нами. Музыкальная фраза была галлюцинацией, звуковым миражем, в ней было что-то от паровозного дыма, заполнившего мое ущелье. Человеческий голос был только продолжением, логическим продолжением этого зимнего музыкального миража.

Но я увидел, что этот голос слышу не я один. Все ползущие слышали этот голос. Холодея, но не в силах двинуться. В голосе с неба было что-то бóльшее, чем надежда, бóльшее, чем наше черепашье движение к жизни. Голос с неба повторял:

«Передаю сообщение ТАСС. Пятнадцать врачей... Их незаконно обвинили, они ни в чем не повинны, их признания получены путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия».

Врачей отпустили. Вот это номер! А как же почта Лидии Тимашук и орден? Как журналистка Ольга Чечеткина, прославлявшая бдительность и героиню этой самой бдительности, бдительность олицетворенную, персонифицированную бдительность, бдительность, показанную на одобрение всему миру...

Ибо смерть Сталина не произвела на нас, многоопытных, надлежащего впечатления.

Уже давно играла какая-то небесная музыка, когда мы поползли вперед. Никто не сказал ни слова — каждый справлялся с новостью сам.

Уже замерцали огни поселка. Навстречу к ползущим выходили их жены, подчиненные и начальники. Навстречу мне не вышел никто — я сам должен был доползти до барака, до комнаты, до койки, зажечь и растопить железную печку. И когда я согрелся, напился горячей воды, согретой в кружке прямо в печке на горящих дровах, выпрямился перед огнем, чувствуя, как теплый свет пробегает по моему лицу — не вся же кожа лица была отморожена раньше, были ведь и сохранившиеся пятна, дольки, части, — я принял решение.

На следующий день я подал заявление об увольнении.

— Увольнение — в руце Божией, — насмешливо сказал начальник района, но заявление принял, и с очередной почтой это заявление увезли.

«На Колыме я семнадцать лет. Прошу меня уволить. Я не пользуюсь как бывший заключенный никакими правами на выслугу лет, на начисления. Расходов по моему увольнению государство почти не несет. Прошу.»

Через две недели я получил ответ: отказ без всяких мотивировок. Тут же я написал протест прокурору, требуя вмешательства и так далее.

Суть была в том, что если возникает какая-нибудь надежда, — должны быть сняты или разбиты всякие юридические оковы, чтобы формальности бумажки не задержали. Скорее всего — переписка моя бесполезна. А вдруг...

В клубе сорвали портрет Берии, а я всё писал, писал... Арест Берии не укрепил меня в моих надеждах. Те события совершались как бы сами по себе, и тайная их связь с моей судьбой не ощущалась явно. Не о Берии мне надо было думать.

Прокурор ответил через две недели. Это был прокурор, занимавший высокие должности в соседнем управлении. Прокурор был снят с работы и переведен в захолустье. Жена прокурора торговала швейными машинами по удесятеренным ценам, об этом даже был написан фельетон. Прокурор пробовал обороняться наиболее привычным оружием — доносил, что дневальный начальника управления Азбукина торгует среди заключенных махоркой по десять рублей за цигарку. А махорку получает в посылках с «материка» самолетами, чуть ли не дипломатической почтой — по особым весовым багажным нормам для высшего начальства, а то и вовсе без всяких норм. За столом начальника управления садилось по двадцати человек ежедневно, и никакие полярные ставки, никакие выслуги лет не могли покрыть расходов на вино, на фрукты. Начальник управления был нежный семьянин, отец двух детей. Все расходы покрывала продажа махорки: десять рублей самодельная папироса, восемь спичечных коробков, шестьдесят папирос в пачке-осьмушке. Шестьсот рублей восьмушка — 50 граммов, — игра стоила свеч.

Прокурор, посягнувший на способ обогащения, был немедленно снят и переведен к нам, в захолустье. Прокурор следил за выполнением закона, быстро отвечая на письма, вдохновленный ненавистью к начальству, разгоряченный борьбой с начальством.

Я написал второе заявление: «Мне было отказано в увольнении. Теперь, посылая вам справку прокурора...»

Через две недели я получил отказ. Без всякой мотивировки — как будто мне был нужен заграничный паспорт, когда не объясняют причины отказа.

Я написал областному прокурору, прокурору Магаданской области, и получил ответ, что я имею право на увольнение и выезд. Борьба «высших сил» перешла в какую-то новую стадию. Каждый «поворот руля» оставляет следы в виде многочисленных приказов, разъяснений, разрешений. Нащупывалось какое-то соответствие, мои заявления попадали, как говорят блатные, «в цвет». В цвет времени?

Через две недели я получил отказ. Без всякой мотивировки. И хоть я писал многократно слезные письма моему начальнику — начальнику санотдела управления фельдшеру Цапко, никаких ответов от Цапко я не получил.

Триста километров было от моего участка до управления, до ближайшего врачебного участка.

Я понял, что нужна личная встреча. И Цапко приехал вместе

с новым начальником лагерей, обещал мне многое, всё обещал, даже увольнение.

— Подберу, как поедем назад. Да оставайся еще на зиму. Весной уедешь.

— Нет. Если даже меня не уволят совсем, из вашего управления я обязательно уйду.

Мы расстались. Август переходил в сентябрь. Кончился обратный ход рыбы из ручьев. Но я не интересовался ни вершами, ни взрывами, после которых всплывала рыба и белые брюха горбуши и кеты качались на горных волнах, заносились в речные затоны и гнили, тухли.

Должен был прийти случай. И случай пришел. Наш район посетил сам начальник дорожного управления инженер-полковник Кондаков. Ночевал он в избе начальника района. Торопясь, боясь, что Кондаков заснет, я постучал в дверь.

— Войдите.

Кондаков сидел за столом, расстегнув китель и растирая натертый воротником красный след, опоясывавший круглую белую шею.

— Фельдшер района. Разрешите обратиться по личному делу.

— В дороге я ни с кем не разговариваю.

— Я это предвидел, — холодно и спокойно сказал я. — Я написал вам письмо-заявление. Вот конверт — там всё сказано. Не откажите прочесть в то время, когда найдете нужным.

Кондакову стало неловко, и он перестал возиться с воротом гимнастерки. Как-никак Кондаков был инженером, человеком с высшим, пусть техническим образованием.

— Садитесь. Расскажите, в чем дело.

Я сел и рассказал.

— Если всё так, как вы говорите, я обещаю вам уволить вас, как только вернусь в управление. Дней через десять.

И Кондаков записал в крошечную книжечку мою фамилию.

Через десять дней мне позвонили из управления — друзья позвонили, если у меня были там друзья. Или просто любопытные, зрители, а не актеры, которые спокойно, много часов подряд, много лет следят, как рыба вырывается из дырявой верши, как лиса отгрызает лапу, чтобы уйти из капкана. Следят, не делая попытки ослабить капкан и выпустить лису. Просто следят за борьбой зверя и человека.

Телефонограмма — из района в управление за мой собственный счет. Разрешение на такую телеграмму я вымолил у начальника района... Никакого ответа.

Колымская зима наступила. Лед затянул ручьи, и только кое-где на быстринах текла, бежала, жила вода, дымящаяся, как паровозный пар.

Нужно было спешить, спешить.

— Я отправляю тяжелобольного в управление, — доложил я начальнику. У больного был разыгравшийся язвенный стоматит на почве недоедания, авитаминоза; язвенный стоматит, который так легко смешать с дифтерией. На такие отправки мы имели право: более того — обязаны были отправлять. По приказу, по закону, по совести.

— А кто будет сопровождать?

— Я.

— Сам?

— Да. На неделю закроем медпункт.

Такие случаи бывали и раньше, и начальник об этом знал.

— Я опись составлю. Во избежание кражи. И шкаф под пломбу уполномоченного.

— Вот это правильно. — Начальник успокоился.

Мы выехали на попутных, замерзали, отогреваясь через каждые тридцать километров, и на третьи сутки, еще засветло, добрались до управления в желто-белой дневной колымской мгле.

Первый человек, которого я увидел, был фельдшер Цапко, начальник санотдела.

— Привез тяжелобольного, — доложил я, но Цапко смотрел не на больного, а на чемоданы. У меня были даже чемоданы — фанерные, самодельные, где были книги, дешевый мой костюм, белье, подушка, одеяло... Цапко всё понял.

— Без начальника разрешения на отъезд не даю.

Пошли к начальнику. Это был маленький начальник по сравнению с инженером-полковником Кондаковым. По нетвердости его тона, неуверенности ответов я понял, что пришли какие-то новые приказы, новые «разъяснения»...

— Не хочешь оставаться еще на зиму? — Был конец октября. Зима была уже в разгаре.

— Нет.

— Ну, что ж. Раз не хочет, не держите...

— Слушаюсь, товарищ начальник! — Цапко вытянулся перед начальником лагеря, щелкнул каблуками, и мы вышли в грязный коридор.

— Ну, так вот, — с удовольствием сказал Цапко. — Ты добился, чего хотел. Мы тебя увольняем на все четыре стороны. На материк поедешь. На твое место назначен фельдшер Новиков.

Он, как и я, — с фронта, с войны. Поедете с ним назад к тебе — там всё сдашь по всей форме и тогда приезжай за расчетом.

— За триста километров? Да снова сюда — да ведь на эту поездку месяц уйдет. Не меньше.

— Больше я сделать ничего не могу. Всё сделал.

Я понял, что и беседа с начальником лагеря была обманом, приготовлена была заранее.

На Колыме нельзя советоваться ни с кем. У заключенного и у бывшего заключенного нет друзей. Первый же советчик побежит к начальнику, чтобы рассказать, выдать товарища, проявить свою бдительность.

Цапко давно ушел, а я всё сидел на полу в коридоре и курил, курил.

«А что это за Новиков? Фельдшер с фронта?»

Я нашел Новикова. Это был оглушенный Колымой человек. Его одиночество, трезвость, неуверенный взгляд говорили, что Колыма для Новикова оказалась совсем не такой, совсем не такой, какую он ждал, начиная охоту за длинными рублями. Новиков был слишком новичком, слишком фронтовиком.

— Слушай, — сказал я. — Ты с фронта. Я здесь семнадцать лет. Отбыл два срока. Сейчас меня увольняют. Я увижу семью. На фельдшерском пункте моем всё в порядке. Вот опись. Всё под пломбой. Подпиши приемный акт заглазно...

Новиков подписал, не советуясь ни с кем.

Я не пошел к Цапко докладывать о том, что акт подписан. Я пошел прямо в бухгалтерию. Бухгалтер просмотрел мои документы — все справки, все бумаги.

— Ну что ж, — сказал. — Можешь получить расчет. Только есть одна заковыка. Вчера получена телефонограмма из Магадана — все увольнения прекратить до весны, до будущей навигации.

— Да что мне навигация. Ведь я самолетом.

— Так приказ общий, сам ведь знаешь. Не вчера родился.

Я снова сидел на полу в конторе и курил, курил. Прошел Цапко.

— Не уехал еще?

— Нет, не уехал.

— Ну, бывай...

Разочарование было почему-то неглубоким. К таким ударам в спину я привык. Но сейчас не должно было ничего случиться плохого. Я всем телом, всей волей своей еще был в движении, в стремлении, в борьбе. Просто что-то было не додумано. Какая-то

ошибка есть у судьбы в холодном ее расчете, в игре со мной. Вот ее ошибка. Я пошел к секретарю начальника, того самого инженер-полковника Кондакова — он снова был в отъезде.

— Была вчера телефонограмма о прекращении увольнений?

— Была.

— Но ведь я, — я чувствовал, как пересохло горло, и едва выговаривал слова, — ведь я уволен еще месяц назад. По приказу 65. Ко мне не должна относиться вчерашняя телефонограмма. Я уже уволен. Месяц назад. Я — в пути, в дороге...

— Да, вроде так, — согласился лейтенант. — Пойдем к бухгалтеру!

Бухгалтер согласился с нами, но сказал:

— Подождем возвращения Кондакова. Пусть он решает.

— Ну, — сказал лейтенант. — Не советую. Приказ сам Кондаков подписывал. По собственному. Никто ему не подкладывал на подпись. Он с тебя шкуру сдерет за невыполнение.

— Хорошо, — сказал бухгалтер, косо взглянув на меня. — Только, — бухгалтер пощелкал пальцами, — дорога за свой собственный счет.

Билет до Москвы самолетом и поездом стоил три с половиной тысячи рублей, и я имел право на оплату дороги Дальстроем, моим Хозяином собственно четырнадцати заключенных и трех вольных — не вольных, а вольнонаемных лет.

Но по тону главного бухгалтера я понял, что здесь он не сделает мне ни малейшей уступки.

На книжке моей бывшего зека, без начислений за выслугу лет, за три года скопилось шесть тысяч рублей.

Зайцы, которых я ловил, варил, жарил и ел, рыба, которую я ловил, варил, жарил и ел, — помогли мне скопить эту удивительную сумму.

Я заплатил в кассу деньги, получил аккредитив на три тысячи, документы, пропуск до аэропорта Оймякона и стал искать машину попутную. Машина скоро нашлась. Двести рублей — двести километров. Я продал одеяло, подушку (к чему всё это в самолете?), продал книги медицинские тому же Цапко по казенной цене — уж Цапко продаст учебники и справочники по цене удесятеренной. Но мне некогда было об этом думать.

Хуже было другое. Я потерял талисман — самодельный нож, который возил с собой много лет. Я спал на мешках с мукой и выронил его, очевидно, из кармана. Чтобы найти нож, надо было разгружать машину.

Рано утром мы приехали в Оймякон, где я работал год назад, в Томтор, в милое мое почтовое отделение, где столько писем я отправил и столько писем получил. Слез около гостиницы аэропорта.

— Слышь ты, — сказал шофер грузовика, — ты ничего не потерял?

— Я нож потерял на муке.

— Вот он. Я доску кузовную открыл, нож выпал на дорогу. Доброе «пёрышко».

— Возьми это пёрышко себе. На память. Мне не нужен больше талисман.

Но радость моя была преждевременной. В Оймяконском порту нет рейсовых самолетов, и пассажиров скопилось еще с осени на десятки машин. Списки по четырнадцать человек, ежедневная перекличка. Транзитная жизнь.

— Когда был последний самолет?

— Был неделю назад.

Значит, придется тут просидеть до весны. Зря я отдал свой талисман шоферу.

Я пошел в лагерь к прорабу, где год назад работал фельдшером.

— На материк собрался?

— Да. Помоги уехать.

— Завтра к Вельтману вместе пойдем.

— А капитан Вельтман всё еще начальником аэропорта?

— Да. Только он не капитан, а майор. Нашивки новые недавно получил.

Утром прораб и я вошли в кабинет Вельтмана, поздоровались.

— Вот — наш малый уезжает.

— А что же он сам не пришел? Он меня знает не хуже, чем тебя, прораб.

— Да просто для крепости, товарищ майор.

— Хорошо. У тебя вещи где?

— Все со мной, — я показал маленький фанерный чемоданчик.

— Вот и отлично. Иди в гостиницу и жди.

— Да я...

— Молчать! Делай, как приказано. А ты, прораб, трактор завтра дашь, ровнять аэродром, а... Без трактора...

— Дам, дам, — сказал, улыбаясь, Супрун.

Я распрощался и с Вельтманом, и с прорабом и вошел в коридор гостиницы; ступая через ноги и тела, добрался до свобод-

ного места у окна. Здесь было, правда, похолодней, но потом, через несколько самолетов, через несколько очередей, я передвинусь к печке, к самой печке.

Прошел какой-нибудь час, и лежавшие вскочили на ноги, прислушиваясь жадно к небу, к гуду.

— Самолет!

— Грузовой дуглас!

— Не грузовой, а пассажирский.

По коридору метался дежурный аэропорта в шапке-ушанке с кокардой, держа в руках список — тот самый список на четырнадцать человек, который уже не первый месяц учили здесь наизусть.

— Все, кого вызвал, быстрее покупайте билеты. Летчик пообедает — и в путь.

— Семенов!

— Есть!

— Галицкий!

— Есть!

— А почему моя фамилия вычеркнута? — бесновался четырнадцатый. — Я же в очереди тут третий месяц!

— Что вы мне говорите? Это начальник порта вычеркнул. Вельтман — своей рукой. Только что. Вас отправят со следующим самолетом. Достаточно? А если хотите спорить, — вот кабинет Вельтмана. Он — там... Он вам и объяснит.

Но на объяснения четырнадцатый не решился. Мало ли что может случиться? Физиономия четырнадцатого Вельтману не понравится. И тогда не только не увезут на следующем самолете, а вычеркнут вовсе из списков. Бывало и такое.

— А кого вписали?

— Да вот — неразборчиво, — дежурный с кокардой вглядывался в новую фамилию и вдруг выкрикнул мою фамилию.

— Вот я.

— К кассиру — быстро.

Я думал: не буду играть в благородство, я не откажусь, я уеду, улечу. За мной семнадцать лет Колымы.

Я бросился к кассиру последний, вытаскивая неприготовленные документы, комкая деньги, роняя на пол вещи.

— Беги быстро, — сказал кассир. — Ваш летчик уже пообедал, а сводки плохие — надо погоду проскочить, добраться до Якутска.

Этот неземной разговор я слушал, чуть дыша.

Летчик во время посадки подрулил самолет поближе к двери столовой. Посадка давно была кончена. Я бежал со своим фанерным чемоданчиком к самолету. Неся в стынущих пальцах покрытый инеем самолетный билет, я задыхался от бега.

Дежурный по аэродрому проверил мой билет, посадил в люк. Летчик задвинул люк, прошел в кабину.

— Воздух!

Я добрался до места, до кресла, не в силах думать ни о чем, не в силах ничего понимать.

Сердце стучало, стучало целых семь часов, пока самолет не оказался внезапно на земле. Якутск.

В Якутском аэропорту мы спали в обнимку с новым моим товарищем — соседом по самолету. Нужно было высчитать самый дешевый путь до Москвы; хоть у меня путевые документы были до Джамбула, я понимал, что колымские законы вряд ли действуют на Большой Земле. Вероятно, можно будет устроиться на работу и на жизнь и не в Джамбуле. У меня еще будет время об этом размыслить.

А пока — дешевле всего до Иркутска самолетом, а там поездом до Москвы. Пять суток там. Или можно еще до Новосибирска, а там — тоже в Москву по железной дороге. Какой самолет раньше отправляется... Я купил билет на Иркутск.

До самолета оставалось несколько часов, и за эти несколько часов я прошел Якутск, вглядываясь в замороженную Лену, в молчащий одноэтажный, похожий на большую деревню город. Нет, Якутск еще не был городом, не был Большой Землей. В нем не было паровозного дыма.